АЗБУКА



милан кундера

милан кундера



вальс на прощание

Вальс на прощание
Милан Кундера

Аннотация
Милан Кундера. ВАЛЬС НА ПРОЩАНИЕ
День первый
День второй
День третий
День четвертый
День пятый

Аннотация

Милан Кундера принадлежит к числу самых популярных писателей современности. Его книги «Невыносимая легкость бытия» и «Бессмертие» буквально заворожили читателей изысканностью стиля, умелым построением сюжета, накалом чувств у героев. Каждое новое произведение писателя пополняет ряд бестселлеров интеллектуальной прозы. «Вальс на прощание» — один из самых любимых его романов.

Милан Кундера
ВАЛЬС НА ПРОЩАНИЕ

День первый

1

Наступает осень, деревья желтеют, краснеют, буреют; небольшой курортный городок в живописной долине словно объят пожаром. Вдоль колоннады, наклоняясь к источникам, расхаживают женщины. Все они бесплодны и лелеют надежду здесь, на водах, избавиться от своего недуга.

Мужчин среди пациентов значительно меньше, но мелькают и они, ибо курорт творит не только гинекологические чудеса, но якобы укрепляет и сердце. И все же — на одного пациента здесь приходится не менее девяти пациенток, что доводит до бешенства незамужнюю молодую женщину, медсестру Ружену, обслуживающую в бассейне бесплодных дам.

Ружена родилась здесь, здесь у нее родители, и кто знает, посчастливится ли ей когда-нибудь вырваться из этого городка, кишмя кишащего женщинами!

Понедельник, рабочий день на исходе. Обернуть еще нескольких толстух в простыни,

уложить их на кушетки, обтереть им лицо, улыбнуться, и дело с концом.

— Ну что, позвонишь? — спрашивают Ружену ее сослуживицы; одна из них рыхлая тридцатипятилетняя, вторая — худая и помоложе.

— А почему бы и нет? — говорит Ружена.

— Главное — не волноваться,— подбадривает ее тридцатипятилетняя и ведет за кабинки, где пациентки переодеваются; там у сестер свой шкаф, столик и телефон.

— Позвони ему домой,— говорит худая не без злорадства, и все три разражаются смехом.

Когда смех утихает, Ружена говорит:

— Я знаю только телефон его театрика.

2

Разговор был ужасным. Услыхав в трубке ее голос, он испугался.

Он всегда опасался женщин, хотя ни одна из них этому не верила, принимая его слова разве что за кокетливую шутку.

— Как поживаешь? — спросил он.

— Не очень хорошо,— ответила она.

— А в чем дело?

— Мне нужно поговорить с тобой,— патетическим тоном сказала она.

Именно этот патетический тон он ждал уже несколько лет.

— Да,— произнес он упавшим голосом.

Она повторила:

— Мне очень нужно поговорить с тобой.

— Что случилось?

— Я уже не та, какой ты узнал меня.

У него перехватило дыхание. Лишь минутой позже он снова спросил:

— А что такое?

— Уже шесть недель, как у меня задержка.

Превозмогая себя, он сказал:

— Может, ничего особенного. Иногда такое случается, это еще ничего не значит.

— Нет, на этот раз именно так.

— Невероятно. Это просто исключено. Во всяком случае я тут ни при чем.

Она оскорбилась:

— За кого ты меня принимаешь, скажи на милость!

Он боялся ее оскорбить, потому что вообще боялся ее:

— Я не собираюсь тебя оскорблять, что за глупость, зачем мне тебя оскорблять, я говорю лишь потому, что со мной это не могло случиться, тебе нечего бояться, это просто исключено, физиоло-

гически исключено.

— Что ж, не сердись,— сказала она очень оскорбленным тоном.— Прости, что побеспокоила тебя.

— Нет, нет, что ты! — Он испугался, что она повесит трубку.— Это правильно, что ты позвонила! Само собой, я помогу тебе. Конечно, все можно уладить.

— В каком смысле — уладить?

Он смешался, не осмеливаясь назвать вещи своими именами:

— Ну так… уладить.

— То, что ты имеешь в виду, не получится. Выкинь это из головы. Даже если испорчу себе жизнь, все равно не сделаю этого.

Его снова бросило в жар, но на сей раз он попытался чуть надавить на нее:

— Зачем же ты мне звонишь, если не хочешь говорить об этом? Ты хочешь посоветоваться со мной или сама уже все решила?

— Хочу посоветоваться.

— Я приеду к тебе.

— Когда?

— Я дам тебе знать.

— Хорошо.

— А пока будь здорова.

— Ты тоже.

Повесив трубку, он вернулся в зал, где репетировал со своим оркестром.

— Господа, репетиция окончена,— сказал он.— Сегодня у меня нет больше сил.

3

Она положила трубку, пылая от возмущения. Ее оскорбило то, как Клима принял ее известие. Впрочем, она чувствовала себя оскорбленной уже задолго до этого.

Они познакомились два месяца назад, когда знаменитый трубач концертировал на курорте со своим оркестром. После концерта был кутеж, на который пригласили и ее. Трубач, отдав ей предпочтение перед остальными девушками, провел с нею ночь.

С тех пор он как в воду канул. Она послала ему две открытки, но он так и не ответил ей. Однажды она, оказавшись в столице, позвонила в его театрик, где, по ее сведениям, он репетировал с оркестром. Человек, отозвавшийся в трубке, попросил ее назвать свое имя и сказал, что попытается найти Климу. Вернувшись минутой позже к телефону, он сообщил, что репетиция закончилась и пан трубач уже ушел. Решив, что он скрывается от нее, она рассердилась тем больше,

что уже тогда стала опасаться беременности.

— Надо же, физиологически исключено! Здорово сказано — физиологически исключено! Интересно, что он скажет, когда родится ребенок!

Обе сослуживицы горячо поддакивали ей. Уже в тот день, когда в насыщенном испарениями зале она сообщила им, что прошлой ночью провела неописуемые минуты со знаменитым трубачом, он сделался достоянием всех ее сотоварок. Его призрак витал в зале, где они попеременно дежурили, и всякий раз, когда там-сям звучало его имя, они усмехались про себя, словно речь шла о ком-то, с кем они были близко знакомы. А узнав, что Ружена беременна, и вовсе преисполнились странной радости, ибо с этой минуты он стал уже неотделим от них, физически присутствуя в недрах ее тела.

— Ну ладно, ладно, успокойся, девушка,— похлопала ее по спине тридцатипятилетняя.— У меня кое-что есть для тебя.— Она тут же раскрыла перед Руженой номер иллюстрированного журнала, весьма замусоленный и захватанный.— На-ка, взгляни!

Все три женщины уставились на фотографию молодой красивой брюнетки, стоящей на сцене с

микрофоном у рта.

Ружена попыталась на этих нескольких сантиметрах снимка вычислить свою судьбу.

— Я и не знала, что она такая молодая,— сказала она с опаской в голосе.

— Э, брось! — рассмеялась тридцатипятилетняя.— Этому снимку лет десять будет. Она с ним одного возраста. Куда ей до тебя!

4

На протяжении всего телефонного разговора Климу не оставляла мысль, что это ужасное известие он уже давно ожидал. Не потому, что у него был разумный повод думать, что во время этого рокового кутежа он сделал Ружене ребенка (напротив, он был уверен, что она облыжно обвинила его), но такое известие он ждал уже много лет, еще задолго до того, как познакомился с Руженой.

Ему шел двадцать первый год, когда одна влюбленная блондинка решила сказаться беременной и тем самым заставить его жениться на ней. Для него это были ужасные недели, завершившиеся желудочными спазмами и полным изнеможением. С тех пор он знает, что беременность — это удар, который может прийти откуда угодно и

когда угодно, удар, от которого нет громоотвода и о котором извещают патетическим тоном по телефону (да, и в тот раз блондинка сообщила ему эту злополучную новость сперва по телефону). Событие, случившееся в его ранней молодости, стало причиной того, что впоследствии он всегда сближался с женщинами с чувством страха (однако достаточно пылко) и после каждой любовной встречи боялся печальных последствий. Пусть он и утешался тем, что вероятность такой напасти при всей его осторожности составляет едва ли не одну тысячную процента, но он страшился и этой одной тысячной.

Однажды, соблазненный свободным вечером, он позвонил девушке, с которой не встречался два месяца. Узнав его по голосу, она воскликнула: «Господи, это ты! Я не могла дождаться твоего звонка! Мне было так нужно, чтобы ты позвонил!» — И говорила она это так многозначительно, с такой патетикой, что сердце у него сжалось от знакомого страха, и он всем существом почувствовал, что настала минута, которой он опасался. Но, полный решимости взглянуть правде в лицо незамедлительно, он пошел в наступление: «А почему ты говоришь это таким трагическим голосом?» — «У меня вчера

умерла мама»,— ответила она ему, и он вздохнул с облегчением, хотя знал, что чаша сия все равно не минет его.

5

— Стоп! Что все это значит? — сказал ударник, и Клима наконец опамятовался. Он увидел вокруг себя озабоченные лица своих музыкантов и рассказал им о случившемся. Ребята, отложив свои инструменты, попытались помочь ему советами.

Первый совет был радикальным: гитарист, восемнадцатилетний паренек, заявил, что такую девушку, которая звонила их дирижеру и трубачу, нужно гнать в три шеи.

— Скажи ей, пусть делает что хочет. Ребенок не твой, так что это не твоя забота. А если ей будет угодно, анализ крови поможет доказать, от кого она залетела.

Клима заметил, что анализ крови по большей части ничего не доказывает и во внимание принимается лишь обвинение женщины.

Гитарист ответил, что до анализа крови дело не дойдет. Отвергнутая таким манером девушка сделает все возможное, чтобы не навлекать на себя лишние неприятности, а поняв, что обвиненный мужчина не трусливый тюфяк, постарается

избавиться от ребенка за свой счет.

— А если бы и родила его, весь оркестр на суде присягнет, что в то время мы все с ней переспали. Пусть среди нас ищут папеньку!

Но Клима сказал:

— Знаю, что вы пошли бы и на это. Однако до тех пор я сто раз спятил бы от неуверенности и страха. В этом деле трусливее меня нет никого под солнцем, и мне нужно обрести почву под ногами как можно скорее.

Все согласились. Подход гитариста в принципе неплох, но он не для каждого. Во-первых, он не для того, у кого шалят нервы. А во-вторых, он не годится для человека известного и богатого, ради которого женщины идут даже на самый безумный риск. И потому музыканты пришли к выводу, что вместо резкого разрыва с девушкой необходимо склонить ее к аборту силой убеждения. Но какие избрать доводы? Вырисовывались три основных метода:

Первый метод взывал к сострадательному девичьему сердцу: Клима поговорит с медсестрой, как с лучшей своей приятельницей; доверится ей во всем; скажет, что его жена серьезно больна и что не перенесет, если узнает, что ее муж прижил ребенка с другой женщиной; что и сам он, Клима,

ни нравственно, ни психически не выдержит такой ситуации; и что поэтому он просит медсестру сжалиться над ним.

Возражение против этого метода было принципиальным. Нельзя строить всю стратегию на чем-то столь зыбком и негарантированном, как сентиментальная доброта медсестры. Если сердце у девушки не столь доброе и сострадательное, этот прием обернется против Климы. Девушка почувствует себя оскорбленной чрезмерным вниманием, которое он, ее избранник, отец ее ребенка, проявляет к другой женщине, и будет вести себя еще круче.

Второй метод взывал к благоразумию девушки. Клима постарается объяснить ей, что у него нет и никогда не будет уверенности, что ребенок действительно его. Он знаком с медсестрой всего по одной встрече и толком ничего не знает о ней. Он даже не имеет понятия, встречается ли она еще с кем-то. Нет, нет, он вовсе не допускает мысли, что она пытается умышленно обмануть его, но не станет же она уверять его, что не встречается с другими мужчинами! Да если бы она и утверждала это, может ли Клима быть уверен, что она говорит правду? И благоразумно ли произвести на свет ребенка, отец которого никогда не будет

уверен в своем отцовстве? И может ли Клима оставить свою жену ради ребенка, не будучи уверен, чей он? И неужели Ружена хочет, чтобы ребенку никогда не дозволено было узнать своего отца?

Но и против второго метода возражения были весьма существенные. Контрабасист (самый старший в оркестре) заявил, что рассчитывать на здравый смысл девушки еще безрассуднее, чем рассчитывать на ее сострадание. Логика аргументации бьет мимо цели: девичье сердце содрогнется при мысли, что любимый человек не верит в правдивость ее слов. Это лишь вынудит ее еще упрямее, с плаксивой напористостью цепляться за свои слова и намерения.

Наконец, имелся еще третий метод: Клима поклянется забеременевшей девушке, что любил и любит ее. О том, что она могла зачать от кого-то другого, не должно быть и речи. Клима, напротив, обрушит на нее потоки доверия, любви и нежности. Пообещает ей все вплоть до развода. Нарисует ей их прекрасное будущее. А затем ради этого будущего попросит ее одуматься и прервать беременность. Объяснит ей, что появление ребенка было бы преждевременным и омрачило бы первую, самую светлую пору их любви.

Этим доводам недоставало того, чего в предыдущих было с избытком: логики. Можно ли поверить, что Клима настолько влюблен в медсестру, если два месяца избегал ее? Но контрабасист утверждал, что влюбленные всегда ведут себя нелогично и проще простого каким-то образом объяснить это девушке. Под конец все сошлись на том, что третий метод, по-видимому, самый подходящий, ибо обращен к влюбленности девушки — в данной ситуации это представляется единственной относительной истиной.

6

Они вышли из театрика, на углу простились, но гитарист решил проводить Климу до самого дома. Он был единственный, кто не согласился с предложенным планом. Ему казалось, что план не достоин их дирижера, которого он боготворил.

— Если идешь к женщине, возьми с собой плетку,— цитировал он Ницше, из чьих трудов знал только эту фразу.

— Дорогой мой,— вздохнул Клима,— плетку для меня взяла она.

Гитарист предложил Климе поехать с ним на его машине в этот курортный городишко, каким-то фокусом выманить девушку на шоссе и

наехать на нее.

— Кто мне докажет, что она не сама угодила под колеса.

Гитарист был самым младшим в оркестре, любил Климу, и Климу тронули его слова.

— Ты очень славный,— сказал он ему.

И гитарист, покраснев от возбуждения, стал разрабатывать план до мельчайших подробностей.

— Ты очень славный, но так дело не пойдет,— сказал Клима.

— Ты еще колеблешься? Она свинья!

— Ты правда очень славный, но так дело не пойдет,— повторил Клима и простился с ним.

7

Оставшись в одиночестве, он призадумался над предложением парня и над тем, почему отверг его. Произошло это не потому, что он был благороднее гитариста, а лишь потому, что был трусливее. Страх, что ему могут пришить соучастие в убийстве, был ничуть не меньше страха, что его объявят отцом ребенка. Он представил себе наезжающую на Ружену машину, представил ее, лежащую на шоссе в луже крови, и его на миг охватило блаженное чувство облегчения. Но он знал, сколь бессмысленно предаваться игре во-

ображения. Сейчас его серьезно заботило другое. Он думал о жене. Боже правый, завтра же у нее день рождения!

Было около шести, время, когда закрываются магазины. Он быстро забежал в цветочный и купил огромный букет роз. И невольно представил себе, каким ужасным будет этот день рождения. Ему придется притворяться, что всеми чувствами и мыслями он с ней, придется уделять ей внимание, быть с ней нежным, развлекать ее, смеяться с ней и в то же время неустанно думать о каком-то чужом, далеком животе. Он старательно будет говорить ласковые слова, но мысль его будет далеко-далеко, заключенная во мраке чужого чрева, как в одиночной камере.

Он понял, что провести этот день рождения дома было бы свыше его сил, и посему решил не откладывая отправиться к Ружене.

Конечно, и эта идея не представлялась ему заманчивой. Горный курорт дохнул на него безлюдьем пустыни. Он никого не знал там. Кроме, пожалуй, одного американского пациента, который вел себя, как некогда богатые мещане в маленьких городках: после концерта закатил пир в своих апартаментах для всего их оркестра. Он потчевал ребят знаменитыми напитками и жен-

ским персоналом курорта, тем самым косвенно содействуя тому, что Клима связался с Руженой. Ах, если бы хоть этот человек, проявивший к нему тогда столь безграничную симпатию, был еще на курорте! Клима мысленно обратился к его образу как к спасению, ибо в минуты, какие переживал он, нет ничего более желанного для мужчины, чем дружеское понимание другого мужчины.

Он снова вернулся в театрик и заглянул к привратнику. Заказал междугородний телефонный разговор. Вскоре услышал в трубке ее голос. Сказал, что приедет к ней завтра. Ни словом не обмолвился о новости, какую она сообщила ему несколькими часами раньше. Он говорил с ней так, словно они были беззаботными любовниками.

Он спросил вскользь:

— Американец еще на курорте?

— Да, здесь,— сказала Ружена.

У него отлегло от сердца, и он уже чуть веселее повторил, что никак не дождется их встречи.

— Как ты одета? — спросил он затем.

— Почему ты спрашиваешь?

Он уже много лет успешно пользовался этим трюком, флиртуя с женщинами по телефону.

— Хочу знать, как ты одета сейчас. Хочу вооб-

разить тебя.

— Я в красном платье.

— Красное наверняка тебе очень к лицу.

— Возможно,— сказала она.

— А под ним?

Она засмеялась.

Да, каждая женщина всегда смеется, когда он об этом спрашивает.

— Какие на тебе трусики?

— Тоже красные.

— Не дождусь, когда тебя в них увижу,— сказал он и простился. Ему казалось, что он нашел правильный тон. На минуту стало легче, но только на минуту. Он почувствовал, что не способен ни о чем думать, кроме Ружены, и что сегодняшние разговоры с женой придется свести к минимуму. Он остановился у кассы кинотеатра, где показывали американский вестерн, и купил два билета.

8

Хотя красота Камилы Климовой затмевала ее болезненность, больной она все-таки была.

По причине слабого здоровья несколько лет назад ей пришлось расстаться с певческой карьерой, в свое время приведшей ее в объятия нынешнего супруга.

Красивую молодую женщину, привыкшую к поклонению, внезапно обдало вонью больничной карболки. Ей казалось, что между ее миром и миром мужа простираются теперь горные цепи.

Когда в такие минуты Клима видел ее печальное лицо, у него разрывалось сердце, и он протягивал к ней (поверх этих вымышленных гор) руки, полные любви. Камила поняла, что в ее печали — нежданная сила, которая влечет Климу, умиляет его и доводит до слез. И потому неудивительно, что она стала (возможно, даже неосознанно, но тем чаще) прибегать к этому внезапно найденному инструменту. Ведь только в минуты, когда он любовался ее болезненным лицом, она могла быть более или менее уверена, что в его мыслях не соперничает с ней никакая другая женщина.

Ибо эта красавица боялась соперниц и замечала их повсюду. Они никогда и нигде не ускользали от нее. Она умела обнаружить их в тоне его голоса, которым Клима здоровался с ней. Умела почувствовать их по запаху его одежды. Недавно она нашла на его столе клочок бумаги, оторванный от края газеты, где его рукой была проставлена дата. Разумеется, речь могла идти о самых разных вещах: о репетиции оркестра, о встрече с про-

дюсером, но она в течение месяца думала лишь о том, с какой женщиной в условленный день встретится Клима, и весь месяц плохо спала.

Но если ее так ужасал коварный мир женщин, то почему за утешением она не могла отправиться в мир мужчин?

Трудно. Ревность обладает удивительной способностью высвечивать яркими лучами лишь одного-единственного мужчину, а толпы всех прочих оставлять в кромешной тьме. Мысль пани Климовой способна была устремляться исключительно в направлении этих мучительных лучей, и ее муж стал для нее единственным мужчиной на свете.

Сейчас она услыхала поворот ключа в замочной скважине и увидала трубача с букетом роз.

В первую минуту она ощутила радость, но следом отозвались сомнения: почему он принес букет уже сегодня, когда день ее рождения только завтра? Что это значит?

— Завтра тебя здесь не будет? — приветствовала она его вопросом.

9

То, что он принес розы уже сегодня, еще вовсе не означало, что завтра его здесь не будет. Но

ее подозрительные щупальца, никогда не дремлющие, вечно ревнивые, способны были далеко вперед улавливать каждое потаенное намерение мужа. Всякий раз, когда Клима осознавал существование этих страшных щупальцев, которые оголяли его, выслеживали и разоблачали, его охватывало безнадежное чувство усталости. Он ненавидел их, убежденный, что если его браку что-то и угрожает, так это только они. Он всегда считал (и в этом смысле совесть его была воинственно чистой), что если иной раз и обманывает жену, то исключительно из желания пощадить ее, оградить от ненужных волнений, и что своей подозрительностью она лишь обрекает себя на муки.

Он смотрел на ее лицо и читал на нем подозрение, печаль и дурное настроение. Его охватило желание хлопнуть букетом об пол, но он овладел собой, зная, что в ближайшем будущем ему придется сдерживать себя и в куда более сложных ситуациях.

— Ты недовольна, что я принес цветы уже сегодня? — сказал он, и жена, почувствовав в голосе мужа раздражение, поблагодарила его и пошла наполнить вазу водой.

— Чертов социализм,— высказался чуть погодя

Клима.

— В каком смысле?

— Да вот, пожалуйста. Нас без конца заставляют выступать за спасибо. То во имя борьбы с империализмом, то по случаю годовщины революции или дня рождения какого-нибудь руководящего босса, и, если я хочу, чтобы наш оркестр не разогнали, приходится со всем соглашаться. Не представляешь, как сегодня я озверел.

— А что случилось? — спросила она без всякого интереса.

— На репетицию к нам заявилась одна референтка из национального комитета и давай нас поучать, что мы должны играть и что не должны, а под конец обязала нас дать даровой концерт для Союза молодежи. Но самое скверное, что завтра целый день я должен торчать на одной идиотской конференции, где нам преподадут урок, какая музыка лучше всего содействует строительству социализма. Загубленный день, начисто загубленный! И главное, это день твоего рождения!

— Не станут же тебя там держать до поздней ночи!

— Нет, конечно. Но представляешь, в каком настроении я вернусь. Поэтому я хотел спокойно провести с тобой часок-другой сегодня вечером,

сказал он и взял жену за руки.

— Ты хороший,— сказала Камила, и Клима понял по ее голосу, что она не верит ни единому слову из того, что он говорил о завтрашней конференции. Но она не осмеливалась выразить ему свое недоверие, зная, что оно доводит его до бешенства. Хотя Клима уже давно не надеялся на ее доверие вне зависимости от того, говорил он правду или ложь, он всегда подозревал ее в том, что она подозревает его. Но ему ничего не оставалось, как продолжать говорить так, будто он верит, что она верит ему, а она (с печальным и чужим лицом) задавала ему вопросы о завтрашней конференции, делая вид, что не сомневается в ее существовании.

Потом она ушла в кухню приготовить ужин. Пересолила его. Она всегда готовила с удовольствием и превосходно (жизнь не избаловала ее и не отучила от хозяйских забот), и Клима знал, что если на сей раз ужин не удался ей, то лишь потому, что она страдала. Он представил себе болезненно резкое движение, каким она сыпанула в пищу лишку соли, и сердце у него сжалось. Ему казалось, что в пересоленных кусках он постигает вкус ее слез и глотает свою собственную провинность. Он знал, что Камилу терзает

ревность, знал, что она опять не будет спать ночью, и потому был полон желания гладить ее, целовать, убаюкивать, но тут же осознавал, что все это пустое, ибо ее щупальца в этой нежности обнаружили бы только его нечистую совесть.

Наконец они пошли в кино. Герой картины, с завидной уверенностью избегавший вероломных ловушек, некоторым образом приободрял Климу. Он представлял себя на его месте, и подчас ему казалось, что уговорить Ружену сделать аборт — сущая малость, с которой он благодаря своему обаянию и своей счастливой звезде играючи справится.

Потом они легли рядом в широкую кровать. Он смотрел на нее. Она лежала на спине, голова была вжата в подушку, подбородок слегка вздернут, глаза устремлены в потолок, и в этой напряженной вытянутости ее тела (она всегда напоминала ему струну, он говорил ей, что у нее «душа струны») он вдруг в одно мгновение увидел всю ее сущность. Да, иногда случалось (это были волшебные минуты), что он вдруг в ее единственном жесте или движении провидел всю историю ее тела и души. Это были минуты не только какого-то абсолютного ясновидения, но и абсолютного умиления; ведь эта женщина

любила его, еще когда он ровно ничего не значил, была готова ради него пожертвовать всем, вслепую угадывала все его мысли, и потому он мог говорить с ней об Армстронге и Стравинском, о разных глупостях и печалях, она была самым близким человеком на свете… Сейчас он вдруг представил себе это сладкое тело, это сладкое лицо мертвыми и понял, что ни дня не прожил бы без нее. Он знал, что способен оберегать ее до последнего вздоха, способен отдать за нее жизнь.

Но это ощущение исступленной любви было лишь мгновенным проблеском, ибо его мозг был целиком обуян тревогой и страхом. Он лежал рядом с Камилой, знал, что бесконечно любит ее, но мыслями был не с ней. Он гладил ее по лицу, словно гладил ее из необозримой, простершейся на многие сотни километров дали.

День второй

1

Было около девяти утра, на окраине курорта (дальше проезд был запрещен) остановился элегантный белый автомобиль, и из него вышел Клима.

По центру курорта тянулся длинный парк с редкими деревьями, газоном, посыпанными песком дорожками и разноцветными скамейками. С обеих сторон парк обрамляли курортные здания, среди них и дом Маркса, где жила медсестра Ружена и где в ее маленькой комнатушке трубач провел два роковых ночных часа. Напротив дома Маркса по другую сторону парка стояло самое красивое здание курорта в модернистском стиле начала века, украшенное богатой лепниной и мозаикой, венчающей широкий портал. Ему единственному выпала честь сохранить неизменным свое первоначальное название Ричмонд.

— Здесь еще живет пан Бертлеф? — спросил Клима привратника; получив утвердительный ответ, он вбежал по красному ковру на второй этаж и постучал в дверь.

Войдя, он увидел Бертлефа, направлявшегося к нему в пижаме. Клима извинился за свое внезапное вторжение, но Бертлеф прервал его:

— Друг мой! Не извиняйтесь! Вы подарили мне величайшую радость, какой в эти утренние часы здесь меня никто не удостаивал!

Он пожал Климе руку и продолжал:

— В этой стране люди не ценят утра. Через силу просыпаются под звон будильника, который разбивает их сон, как удар топора, и тотчас предаются печальной суете. Скажите мне, каким может быть день, начатый столь насильственным актом! Что должно происходить с людьми, которые вседневно с помощью будильника получают небольшой электрический шок! Они изо дня в день привыкают к насилию и изо дня в день отучаются от наслаждения. Поверьте мне, характер людей формируют их утра.

Бертлеф нежно обнял Климу за плечи и, усадив в кресло, сказал:

— А я так упоительно люблю эти утренние часы бездействия, по которым, как по мосту, украшенном скульптурами, перехожу из ночи в день, из сна в бдение. Это часть дня, когда я был бы несказанно благодарен за маленькое чудо, за неожиданную встречу, какая убедила

бы меня, что сны моей ночи сбываются и что между авантюрами сна и авантюрами яви не зияет пропасть.

Трубач наблюдал, как Бертлеф в пижаме ходит по комнате, приглаживая рукой поседевшие волосы, и отмечал про себя, что в звучной речи Бертлефа ощутим неистребимый американский акцент, а в выборе слов — забавная старомодность, легко объяснимая тем, что на своей исконной родине он никогда не жил и родной язык слышал лишь в семейном исполнении.

— И никто, друг мой,— склонился он к Климе с доверительной улыбкой, никто в этом курортном городишке не способен понять меня и пойти мне навстречу. Даже медицинские сестры, в основном доступные, неприязненно хмурятся, стоит мне предложить им провести со мной несколько веселых минут за завтраком, и потому я вынужден переносить все свидания на вечер, когда чувствую себя немного усталым.

Затем, подойдя к столику с телефоном, он спросил:

— Когда вы приехали?

— Утром,— сказал Клима.— На машине.

— Несомненно, вы голодны,— сказал Бертлеф и поднял трубку. Заказал завтрак на двоих: — Че-

тыре яйца всмятку, сыр, масло, рогалики, молоко, ветчину, чай.

Тем временем Клима обвел взглядом комнату. Большой круглый стол, стулья, кресла, зеркало, два дивана, дверь в ванную и другие соседние помещения, где, помнилось, была небольшая спальня. Здесь, в этих великолепных покоях, все и началось. Здесь сидели подвыпившие ребята из его оркестра; дабы развлечь их, богатый американец позвал нескольких медсестер.

— Да,— сказал Бертлеф,— этой картины, на которую вы смотрите, здесь тогда не было.

Только сейчас трубач заметил картину, на которой был изображен бородатый человек со странным голубым диском вокруг головы, в руках он держал кисть и палитру. Картина выглядела неумело написанной, но трубач знал, что многие картины, выглядевшие неумело написанными, стали знаменитыми.

— Кто это рисовал?

— Я,— ответил Бертлеф.

— Не знал, что вы рисуете.

— Рисую с превеликим удовольствием.

— А кто это?

— Святой Лазарь.

— Разве Лазарь был художник?

— Это не библейский Лазарь, а святой Лазарь, монах, живший в девятом веке в Константинополе. Это мой патрон.

— Вот как,— сказал трубач.

— Это был необычайный святой. Его мучили не язычники за то, что он веровал в Христа, а злобные христиане, ибо он любил рисовать. Вероятно, вы знаете, что в восьмом и девятом веке в греческой церкви царил жесткий аскетизм, нетерпимый к любым светским радостям. И живопись, и скульптура воспринимались как нечто порочно сибаритское. Император Теофил повелел уничтожить тысячи прекрасных картин, а моему обожаемому Лазарю запретил рисовать. Но Лазарь знал, что своими картинами он прославляет Бога, и не сдавался. Теофил держал его в темнице, подвергал пыткам, требуя, чтобы Лазарь отрекся от кисти, но Бог был к нему милостив и дал ему силу выдержать страшные муки.

— Красивая легенда,— учтиво сказал трубач.

— Превосходная. Но вы определенно пришли ко мне по другому поводу, а вовсе не для того, чтобы посмотреть на мои иконки.

Раздался стук в дверь, вошел официант с большим подносом. Поставив его на стол, он накрыл для обоих мужчин завтрак.

Бертлеф, пригласив трубача к столу, сказал:

— Завтрак не настолько пышный, чтобы помешать нам продолжить беседу. Выкладывайте, что вас тревожит!

И трубач, разжевывая пищу, стал излагать свою историю, вынуждавшую Бертлефа неоднократно прерывать его наводящими вопросами.

2

Прежде всего он попытался выяснить, почему Клима не ответил сестре Ружене ни на одну из ее открыток, скрывался от нее и сам ни разу не сделал какого-либо дружеского жеста, который продолжил бы их любовную ночь тихим, умиротворяющим отголоском.

Клима признался, что вел себя нелепо и недостойно. Однако переломить себя не мог. Всякое дальнейшее общение с этой девушкой претило ему.

— Соблазнить женщину,— хмуро сказал Бертлеф,— умеет каждый дурак. Но по умению расстаться с ней познается истинно зрелый мужчина.

— Верно,— с грустью согласился трубач,— но это отвращение, эта непреодолимая антипатия во мне сильнее любого благого порыва.

— Скажите пожалуйста,— удивился Бертлеф,— вы женоненавистник?

— Ходит такая молва.

— Но откуда это у вас? Вы не выглядите ни импотентом, ни гомосексуалистом!

— Я и вправду не импотент и не гомосексуалист. Это кое-что похуже, меланхолично обронил трубач.— Я люблю свою собственную жену. Это моя эротическая тайна, которая для большинства людей совершенно непостижима.

Это признание было настолько трогательным, что оба мужчины ненадолго умолкли. Затем трубач заговорил снова:

— Этого никто не понимает, и менее всех моя жена. Она думает, что любовь выражается лишь в том, что для вас не существует других женщин. Это форменная чушь! Меня постоянно влечет к той или иной чужой женщине, но стоит мне овладеть ею, какая-то мощная пружина отбрасывает меня от нее назад к Камиле. Иногда мне кажется, что я ищу других женщин только ради этой пружины, ради этого броска и восхитительного полета (полного нежности, желания и смирения) к собственной жене, которую с каждой новой изменой люблю все больше.

— Получается, сестра Ружена была для вас

лишь утверждением в моногамной любви.

— Да,— сказал трубач.— И весьма приятным утверждением. Ибо сестра Ружена обладает особым очарованием, когда видишь ее впервые, однако ее очарование с немалой для тебя пользой в течение двух часов целиком исчерпывает себя; тебя уже ничто не влечет к продолжению этой связи, и пружина мощно отбрасывает тебя в прекрасный обратный полет.

— Милый друг, я вряд ли мог бы доказать на другом примере успешнее, чем на вашем, сколь грешна преувеличенная любовь.

— Я полагал, что любовь к жене — единственное, что есть во мне хорошего.

— И вы ошибались. Ваша преувеличенная любовь к жене является не искупительным противовесом вашего бессердечия, а его источником. Поскольку ваша жена для вас все, остальные женщины для вас ничто, или, попросту говоря, потаскухи. Но это великое кощунство и великое неуважение к творениям Божьим. Милый друг, этот тип любви не что иное как ересь.

3

Бертлеф отодвинул в сторону пустую чашку, встал из-за стола и ушел в ванную, откуда до Кли-

мы донесся звук текущей воды, а минутой позже голос Бертлефа:

— Вы полагаете, что человеку дано право умерщвлять зачатого ребенка?

Уже увидев изображенного бородача с нимбом, Клима несколько смутился. Он помнил Бертлефа добродушным бонвиваном, и ему вовсе не приходило на ум, что он человек верующий. И сейчас у него сжалось сердце — он испугался, что услышит нравоучения и его единственный оазис в пустыне этого городка покроется песком. Приглушенным голосом он спросил:

— Вы относитесь к тем, кто называет это убийством?

Бертлеф ответил не сразу. Затем вышел из ванной одетым в повседневный костюм и тщательно причесанным.

— Убийство — слово, слишком отдающее электрическим стулом,— сказал он.— Речь о другом. Видите ли, я думаю, что жизнь надо принимать во всех ее проявлениях. Это первая заповедь еще до Десятословия. Все события в руках Божьих. И мы ничего не ведаем об их завтрашней судьбе, иными словами, я хочу сказать, что принимать жизнь во всех ее проявлениях означает принимать непредвиденное. А ребенок — это

концентрация непредвиденного. Ребенок — сама непредвиденность. Вам не дано знать, что из него получится, что он принесет вам, и именно потому вы должны принять его. Иначе вы живете лишь вполовину, живете как человек, не умеющий плавать и плещущийся у берега, тогда как настоящее море только там, где оно глубоко.

Трубач намекнул, что ребенок не его.

— Допустим,— сказал Бертлеф.— Но искренне признайтесь и в том, что вы столь же настойчиво уговаривали бы Ружену сделать аборт, будь ребенок ваш. Вы делали бы это ради своей жены и грешной любви, какую к ней питаете.

— Да, признаюсь,— сказал трубач,— я уговаривал бы ее сделать аборт при любых обстоятельствах.

Бертлеф стоял, прислонясь к косяку двери, ведущей в ванную, и улыбался.

— Я понимаю вас и не собираюсь переубеждать. Я слишком стар для того, чтобы стремиться исправить мир. Я сказал вам, что думаю, и все тут.

Я останусь вашим другом, хотя вы и будете поступать вопреки моим убеждениям, и постараюсь помочь вам даже при моем несогласии с вами.

Трубач взглянул на Бертлефа, изрекшего последнюю фразу бархатным голосом мудрого

проповедника. Он казался ему величественным. Похоже было, что все сказанное Бертлефом может стать легендой, притчей, примером, главой из некоего современного Евангелия. Трубачу хотелось (мы поймем его, он был взволнован и склонен к преувеличенным жестам) отвесить ему глубокий поклон.

— Я помогу вам по мере возможностей,— продолжал Бертлеф.— Сейчас мы зайдем к моему другу главному врачу Шкрете, который ради вас позаботится о медицинской стороне дела. Однако скажите мне, как вы хотите принудить Ружену к решению, которому она противится?

4

Трубач изложил свой план, и Бертлеф сказал: — Это напоминает мне историю, случившуюся со мной во времена моей авантюрной молодости, когда я работал в порту докером. Завтрак нам разносила девушка с необычайно добрым сердцем, не умевшая никому ни в чем отказать. Но за такую доброту сердца (и тела) мужчины, как правило, платили скорее грубостью, чем благодарностью, так что я был единственным, кто относился к ней с почтительной нежностью, хотя как раз у меня с ней ничего и не было. Моя

нежность привела к тому, что она влюбилась в меня. Если бы я в конце концов не переспал с ней, я унизил бы ее и причинил бы ей боль. Но случилось это один-единственный раз, и я тут же объяснил ей, что по-прежнему сохраню к ней самое нежное чувство, но любовниками мы не будем. Она расплакалась, убежала, перестала со мной здороваться и еще откровеннее стала отдаваться другим. Спустя два месяца она объявила мне, что беременна от меня.

— Значит, вы были в таком же положении! — воскликнул трубач.

— О, друг мой,— сказал Бертлеф,— неужто вы не знаете, что происходящее с вами — история всех мужчин на свете?

— И как же вы поступили?

— Я вел себя так же, как собираетесь вести себя вы, с одной только разницей. Вы собираетесь разыгрывать перед Руженой любовь, тогда как я действительно любил ту несчастную девушку, всеми униженную и обиженную, которая впервые познала со мной, что такое нежность, и не хочет лишиться ее. Я понимал, что она любит меня, и не мог сердиться за то, что она проявляет эту любовь так, как умеет, пользуясь теми средствами, какие ей подсказывает ее невинная

подлость. И вот что я сказал ей: «Я знаю, что забеременела ты от кого-то другого. Но знаю и то, что эту ложь ты употребила во имя любви, и за эту любовь я хочу отплатить тебе любовью. Мне все равно, от кого у тебя ребенок, но если ты хочешь, я женюсь на тебе».

— Сущее безумие!

— И все же, возможно, более плодотворное, чем ваши продуманные действия. Когда я еще несколько раз повторил этой шлюшке, что люблю ее и женюсь на ней даже с ребенком, она расплакалась и призналась, что обманула меня. Сказала, что именно моя доброта позволила ей понять, что она недостойна меня и никогда не сможет стать моей женой.

Трубач задумчиво молчал, а Бертлеф добавил:

— Я был бы рад, если бы эта история могла послужить вам своего рода притчей. Не пытайтесь разыгрывать перед Руженой любовь, а постарайтесь действительно полюбить ее. Постарайтесь пожалеть ее. И даже если она обманула вас, постарайтесь в этом обмане увидеть ее способ любви. Я уверен, что она не устоит перед силой вашей доброты и сама все устроит так, чтобы не причинить вам вреда.

Слова Бертлефа произвели на трубача силь-

ное впечатление. Но когда он более явственно представил себе облик Ружены, то понял, что путь любви, указанный Бертлефом, проторить ему не дано; что это путь святых, а не простых смертных.

5

Ружена сидела за столиком в большом зале, где вдоль стен были кушетки, на которых отдыхали после водных процедур женщины. Она взяла у двух вошедших пациенток курортные карты, отметила в них дату, выдала ключи от раздевалок, полотенце и длинную простыню. Затем, взглянув на часы, направилась (в одном белом халате на голом теле, так как в облицованных кафелем залах стоял густой горячий пар) в задний зал к бассейну, где в чудодейственной родниковой воде барахталось десятка два голых женщин. Трех она окликнула по имени и объявила им, что время, отведенное для купания, истекло. Дамы послушно выскочили из бассейна, затрясли большими грудями, с которых стекала вода, и, подпрыгивая, последовали за Руженой в переднее помещение. Там дамы улеглись на свободные кушетки, и Ружена одну за другой обернула в простыню, вытерла им кончиком материи глаза и набросила

на них еще по теплому одеялу. Дамы улыбались Ружене, но она не отвечала им улыбкой.

Мало приятного родиться в маленьком городке, куда ежегодно наезжает десять тысяч женщин, но где почти не бывает ни одного молодого мужчины; уже в пятнадцать лет женщина способна здесь точно предугадать все эротические возможности, отпущенные ей до конца дней, если она не сменит места проживания. Но сменить место проживания? Здравница, в которой она работала, очень неохотно расставалась со своими служащими, да и родители Ружены приходили в неистовство при любом намеке на переселение.

Нет, эта девушка, пусть и старалась вполне добросовестно выполнять свои обязанности, отнюдь не пылала любовью к пациенткам. Приведем три причины: Зависть: они приехали сюда от мужей, от любовников, из мира бессчетных возможностей, недоступных ей, хотя у нее и грудь красивее, и ноги длиннее, и лицо правильнее.

Кроме зависти, нетерпение: они являлись сюда со своими далекими судьбами, а она была здесь без судьбы, в прошлом году такая же, как и в нынешнем; ее бесило, что отпущенное ей время в этом маленьком поселке протекает без событий, и она, несмотря на свою молодость, постоянно ду-

мала о том, что жизнь ускользнет от нее раньше, чем она вообще начнет ее проживать.

И в-третьих: она испытывала инстинктивное отвращение к этому скопищу, обесценивавшему отдельно взятую женщину. Ее обступала печальная инфляция женских грудей, среди которых даже такие красивые груди, как у нее, утрачивали ценность.

По-прежнему не улыбаясь, она уже успела закутать последнюю из трех дам, когда в зал заглянула ее худая сослуживица и крикнула ей:

— Тебя к телефону!

Вид у нее был столь торжественный, что Ружена сразу поняла, кто звонит. Зардевшись, она зашла за кабинки, подняла трубку и назвала свое имя.

Клима поздоровался и спросил, когда у нее найдется для него время.

— Я кончаю в три,— ответила она,— в четыре мы можем встретиться.

Затем стали договариваться о месте встречи. Ружена предложила самый большой на курорте винный погребок, открытый в течение всего дня.

Худая сослуживица, стоявшая рядом с Руженой и не сводившая глаз с ее губ, утвердительно кив-

нула. Но трубач возразил, сказав, что предпочел бы встретиться с Руженой в более уединенном месте, и предложил ей выехать на его машине за пределы курорта.

— Лишнее. Куда нам еще ехать,— сказала Ружена.

— Будем одни.

— Если ты стыдишься меня, незачем вообще сюда приезжать,— сказала Ружена, и ее сослуживица вновь утвердительно кивнула.

— Я не это имел в виду,— сказал Клима.— Ну что ж, буду ждать тебя в четыре у винного погребка.

— Отлично,— сказала худая, когда Ружена повесила трубку.— Он хотел бы увидеться с тобой где-нибудь тайком, но ты должна стремиться к тому, чтобы вас видело как можно больше народу.

Ружена постоянно пребывала в сильном возбуждении, а перед свиданием особенно нервничала. Сейчас ей было трудно даже представить себе Климу. Как он выглядит? Как улыбается, как ведет себя? От их единственной встречи у нее осталось очень смутное воспоминание. Сослуживицы тогда очень подробно расспрашивали ее о трубаче: какой он, что говорит, как выглядит раздетым и как умеет любить. Но она не могла ни о чем говорить и лишь повторяла, что это было

«как сон».

И это была не пустая фраза. Мужчина, с которым она провела два часа в постели, сошел к ней с афиш. Его фотография на время обрела трехмерную материальность, температуру и вес, но затем снова стала нематериальным и бесцветным образом, размноженным в несчетных экземплярах и потому еще более абстрактным и нереальным.

Да, именно потому, что он тогда так быстро ускользнул от нее в свой графический знак, в ней осталось неприятное ощущение его совершенства. Она не могла уцепиться ни за одну деталь, которая бы принизила его и приблизила. Когда он был далеко, она была полна решительной воинственности, но теперь, в предчувствии его близости, утратила смелость.

— Держись,— сказала ей худая.— Буду болеть за тебя.

6

Когда Клима закончил разговор с Руженой, Бертлеф взял его под руку и повел к дому Маркса, где практиковал и жил доктор Шкрета. В приемной сидели несколько женщин, но Бертлеф решительно постучал четырьмя короткими ударами в дверь кабинета. Спустя минуту вышел

высокий мужчина в белом халате и очках над объемистым носом. Ожидавшим приема женщинам он сказал: «Простите, одну минуту», и повел обоих мужчин в коридор, а оттуда в свою квартиру, расположенную этажом выше.

— Как поживаете, маэстро? — обратился он к трубачу, когда все трое уселись.— Когда мы вас снова увидим здесь с концертом?

— Никогда в жизни,— ответил Клима.— Этот курорт приносит мне одни неприятности.

Бертлеф объяснил доктору Шкрете, что приключилось с трубачом, и трубач вслед за этим сказал:

— Я хотел попросить вас помочь мне. Прежде всего я хотел бы знать, действительно ли она беременна. Может, просто задержка. Или она вешает мне лапшу на уши. Когда-то давно такую штуку проделала со мной одна девушка. Кстати, тоже блондинка.

— Вам не стоит связываться с блондинками,— сказал доктор Шкрета.

— Да,— согласился Клима.— Блондинки — мое несчастье. Пан главврач, это было чудовищно. Я умолял ее пойти провериться у врача. Но на ранней стадии беременности ничего с точностью определить нельзя. Поэтому я хотел, чтобы ей

сделали анализ на мышах. Мочу вводят в мышь, и если у нее набухают яичники…

— …значит, дама беременна,— дополнил его доктор Шкрета.

— Она понесла в бутылочке утреннюю мочу, я сопровождал ее, но у самой поликлиники бутылочку уронила на тротуар. Я кинулся к этим осколкам в надежде сохранить хоть несколько капель! Я вел себя так, словно она уронила чашу Грааля! Она разбила ее нарочно, потому что знала, что не беременна, и хотела как можно дольше продлить мои муки.

— Типичное поведение блондинок,— невозмутимо сказал доктор Шкрета.

— Вы полагаете, что блондинки отличаются от брюнеток? — сказал Бертлеф, в ком опытность Шкреты по части женщин вызывала некоторые сомнения.

— Разумеется,— сказал доктор Шкрета.— Светлые и темные волосы — два полюса человеческого характера. Темные волосы означают мужественность, смелость, искренность и активность, тогда как светлые символизируют женственность, нежность, беспомощность и пассивность. Блондинка, стало быть, вдвойне женщина. Принцесса должна быть белокурой. Поэтому женщины, же-

лая быть в высшей степени женщинами, красят волосы в блондинистый, но никак не в черный цвет.

— Было бы весьма любопытно знать, каким образом пигменты оказывают влияние на человеческую душу,— с сомнением сказал Бертлеф.

— Речь не о пигментах. Блондинка непроизвольно уподобляется своим волосам. Еще в большей мере это происходит тогда, когда блондинка на самом деле перекрашенная брюнетка. Она хочет быть верной своему цвету и прикидывается созданием хрупким, куколкой для игры, требуя по отношению к себе нежности и услужливости, деликатности и алиментов; не умея ничего делать своими руками, внешне она сама утонченность, а внутри хамство. Если бы темные волосы стали всемирной модой, на свете жилось бы значительно лучше. Это была бы самая полезная социальная реформа, какая когда-либо осуществлялась.

— Так что Ружена тоже, вполне вероятно, просто дурачит меня.— Клима пытался извлечь из слов Шкреты хоть какую-то надежду.

— Нет. Позавчера я осмотрел ее. Она беременна,— сказал доктор Шкрета.

Бертлеф заметил позеленевшее лицо трубача

и сказал:

— Пан доктор, вы, однако, председатель комиссии, разрешающей аборты.

— Да,— сказал Шкрета.— В пятницу у нас заседание.

— Превосходно,— сказал Бертлеф.— И надо бы поторопиться с этим, ибо наш друг может не вынести напряжения. Я знаю, что в этой стране аборты разрешаются с трудом.

— С величайшим трудом,— сказал доктор Шкрета.— У меня в комиссии две бабы, представляющие народовластие; они страшны как война и потому на дух не переносят всех наших посетительниц. А знаете ли вы, кто на свете самые ярые женоненавистники? Женщины. Друзья мои, ни один мужчина, даже пан Клима, которому уже две женщины пришили свою беременность, не испытывает к ним такой ненависти, какую испытывают они к себе подобным. Как вы думаете, ради чего женщины вообще домогаются нас? Ради того лишь, чтобы уязвить и унизить своих сотоварок. Создатель вложил в сердца женщин ненависть к другим женщинам, ибо хотел, чтобы род людской размножался.

— Я постараюсь немедля простить вам ваши слова,— сказал Бертлеф, так как хочу вернуться

к делу нашего друга. В этой комиссии как-никак ваше слово решающее, и эти страшные бабы примут вашу сторону.

— Да, там мое слово решающее, но я все равно хочу бросить это занятие. Оно не приносит мне ни гроша. Маэстро, сколько вы зарабатываете за один концерт?

Сумма, названная Климой, явно произвела на доктора Шкрету впечатление.

— Нередко прихожу к мысли, что я мог бы подрабатывать музыкой, сказал он.— Я вполне сносно играю на барабане.

— Вы играете на барабане? — с подчеркнутой заинтересованностью спросил трубач.

— Да,— сказал доктор Шкрета.— У нас в клубе рояль и барабан. В свободное время я играю на барабане.

— Великолепно,— воскликнул трубач, благодарный за возможность польстить главному врачу.

— Но у меня здесь нет партнеров, чтобы организовать настоящий оркестр. Разве что аптекарь довольно прилично играет на рояле. Раз-другой мы пробовали сыграться. Знаете что? — задумался он.— Когда Ружена придет на комиссию…

— О, только бы пришла! — вздохнул Клима.

Доктор Шкрета махнул рукой:

— Туда все с радостью приходят. Но на комиссии требуется и присутствие отца, так что вам придется явиться вместе с ней. А чтобы вам не приезжать сюда только ради этакой ерунды, вы могли бы приехать накануне, и мы вечером дали бы концерт. Труба, рояль, барабан. Tres faciunt orchestrum [1]. Если на афише будет ваше имя, аншлаг обеспечен. Как вы к этому относитесь?

Клима всегда был даже слишком требователен к профессиональному совершенству своих выступлений, и предложение главного врача еще вчера показалось бы ему просто-напросто абсурдным. Сегодня же его не волновало ничего, кроме чрева одной-единственной медсестры, и потому на вопрос главного врача он ответил учтивым восторгом:

— Это было бы великолепно!

— В самом деле? Вы за?

— Разумеется.

— А что вы думаете по этому поводу? — обратился Шкрета к Бертлефу.

— Что это замечательная идея. Не представляю, однако, как за неполных два дня вы успеете под-

---

[1] Примечания: 1

Трое составляют оркестр *(лат.)*.

готовиться.

Вместо ответа Шкрета встал и подошел к телефону. Набрал какой-то номер, но там никто не отозвался.

— Самое главное — немедленно сделать афиши, но наша секретарша, должно быть, обедает,— сказал он.— Освободить зал проще простого. Общество народного образования организует там в четверг лекцию по борьбе с алкоголизмом, которую должен прочесть мой коллега. Он будет счастлив, если я попрошу его сказаться больным и отменить ее. А вам придется приехать уже в четверг в полдень, чтобы нам немного порепетировать и посмотреть, как у нас получается. Или это не обязательно?

— Нет, нет,— сказал Клима.— Обязательно. Перед концертом надо немного сыграться.

— Я тоже так считаю,— согласился Шкрета.— Мы выбрали бы самый эффектный репертуар. Я отлично исполняю на барабане «Сент-Луис Блюз» и «Святые маршируют». У меня подготовлено и несколько сольных номеров, любопытно, что вы на это скажете. Кстати, что вы делаете сегодня после обеда? Не хотите ли попробовать?

— К сожалению, сегодня после обеда мне предстоит уговаривать Ружену пойти на кюретаж.

Шкрета махнул рукой:

— Плюньте на это. Она пойдет на это и без уговоров.

— Пан главный врач,— просительно сказал Клима,— лучше в четверг.

— Я тоже думаю, что вам лучше подождать до четверга,— поддержал трубача Бертлеф.— Наш друг сегодня, пожалуй, не в силах сосредоточиться. Кроме того, по-моему, он не взял с собой трубы.

— И в самом деле,— согласился Шкрета и повел приятелей в ресторан напротив. Однако на улице их догнала медсестра Шкреты и настойчиво стала просить пана главного врача вернуться в кабинет. Доктор Шкрета извинился перед приятелями и послушно поплелся вслед за сестрой к своим бесплодным пациенткам.

7

В свою маленькую комнатушку в доме Маркса Ружена переехала примерно полгода назад от своих родителей, проживавших в недалеком поселке. Она надеялась, что самостоятельное житье сулит ей невесть какие радости, но за это время поняла, что комнатушкой и свободой пользуется не столь успешно и разнообразно, как мечталось

ей прежде.

Вернувшись с работы после трех часов дня, она была неприятно поражена тем, что дома ее ждет, развалившись на диване, отец. Его приход был некстати: она хотела сосредоточенно заняться своим туалетом, причесаться и тщательно выбрать то, что наденет.

— Что ты здесь делаешь? — спросила она его раздраженно, досадуя на привратника, который знал ее отца и готов был когда угодно в ее отсутствие открыть ему комнату.

— Выпала свободная минута,— сказал отец.— Сегодня у нас здесь учения.

Ее отец был членом добровольной дружины общественного порядка. Врачи посмеивались над стариками, которые с повязками на рукавах важно расхаживали по улицам, и поэтому Ружена стыдилась отцовской деятельности.

— Охота тебе,— проворчала она.

— Скажи спасибо, что твой папка никогда не бездельничал и не собирается бездельничать. Мы, пенсионеры, еще покажем вам, молодым, на что горазды!

Ружена решила дать отцу высказаться, а самой тем временем продуманно выбрать платье. Она открыла шкаф.

— Хотелось бы знать, на что вы горазды,— сказала она.

— На многое. Это курорт мирового значения, девочка. А как все тут выглядит! Детвора носится по газонам!

— О, Господи! — выдохнула Ружена, роясь в платьях. Ни одно из них ей не нравилось.

— Если б только детвора, а то собак тьма! Национальный комитет давно постановил, чтоб собак водили на поводке и в намордниках! Да здесь никому дела до этого нет, каждый чудит, как хочет. Ты только погляди, что там в парке!

Ружена вынула одно платье и стала раздеваться за полуоткрытой дверцей шкафа.

— Все обоссали! Даже песок на детской площадке! А теперь представь, что какой-нибудь ребенок играючи выронит в этот песок намазанный ломоть хлеба. А потом удивляешься, откуда столько болезней! Ты погляди-ка!

Отец подошел к окну:

— Только в эту минуту там свободно бегают четыре собаки.

Ружена вышла из-за дверцы шкафа и посмотрела на себя в зеркало. Но дома у нее было только маленькое стенное зеркало, в котором она видела себя едва ли до пояса.

— Это тебя вроде не волнует, так, что ли? — спросил отец.

— Почему же, волнует,— сказала Ружена, чуть отступая на цыпочках от зеркала, чтобы рассмотреть, как в этом платье выглядят ее ноги,— но ты не сердись, я тороплюсь, мне срочно надо уйти.

— Я уважаю исключительно полицейских овчарок или охотничьих собак, сказал отец.— Но не понимаю людей, которые держат собак в квартире. Женщины скоро перестанут рожать и в колясках будут возить пуделей!

Ружена была недовольна образом, возвращенным ей зеркалом. Она снова подошла к шкафу и стала выбирать платье, которое было бы ей больше к лицу.

— Мы постановили, что собаку можно держать в квартире только с согласия всех остальных жильцов дома на общем собрании. Кроме того, мы повысим налоги на собак.

— Да, у тебя забот невпроворот,— сказала Ружена, мысленно радуясь, что уже не должна жить в родительском доме. С детства отец отталкивал ее своими нотациями и указами. Она мечтала о мире, где люди говорят другим языком, нежели он.

— Нечего насмешничать. Собаки и впрямь очень серьезная проблема, и так думаю не только

я, но и самые высокопоставленные лица. Верно, они забыли спросить тебя, что важно, а что нет. Ты, конечно, сказала бы, что на свете нет ничего важнее твоего платья,— сказал он, заметив, что дочь, снова спрятавшись за дверцу шкафа, переодевается.

— Разумеется, платье важнее твоих собак,— отрезала она и опять встала на цыпочках перед зеркалом. И опять себе не понравилась. Но недовольство самой собой в ней постепенно перерастало в строптивость: она с ехидством подумала, что трубач будет рад принять ее и в этом дешевеньком платьице, и эта мысль доставила ей особое удовольствие.

— Это, прежде всего, вопрос гигиены,— продолжал отец.— Наши города никогда не будут чистыми, пока собаки гадят на тротуарах. Кроме того, речь идет о морали. Куда годится, чтобы люди баловали собак в своих жилищах.

Случилось то, что Ружена даже не осознавала: ее строптивость загадочно и незаметно сливалась с возмущением отца. Она уже не испытывала к нему прежней острой неприязни, напротив, черпала в его гневных речах энергию.

— Дома мы никогда никаких собак не держали и обходились без них, сказал отец.

Она смотрелась в зеркало и чувствовала, что беременность наделяет ее небывалым преимуществом. Нравится она себе или нет, трубач приехал к ней и прелюбезно приглашает ее в винный погребок. Кстати (она посмотрела на часы), он уже сейчас ждет ее.

— Но мы наведем здесь порядок, девочка. Ты еще увидишь! — засмеялся отец, и она сказала ему уже спокойно, едва ли не с улыбкой:

— Хорошо, папа. Но теперь мне пора идти.

— И мне. Сразу продолжим учения.

Они вместе вышли из дома Маркса и тут же простились. Ружена медленно побрела к винному погребку.

8

Клима никогда не мог целиком вжиться в светскую роль популярного, всем известного артиста, и в период личных неурядиц воспринимал ее как крайнее неудобство и бремя. Когда он вошел в вестибюль ресторана и увидел на стене против гардероба свою большую фотографию на афише, висевшей там еще со времени последнего концерта, его охватило чувство тоски. Он вел девушку в зал, а сам невольно определял, кто из гостей узнает его. Он боялся глаз, ему казалось,

что отовсюду они следят за ним, контролируют его, требуя от него определенного вида и поведения. Он поймал на себе несколько любопытных взглядов. Стараясь не замечать их, он направился к столику в конце зала, откуда в большое окно видны были кроны парка.

Они сели, он улыбнулся Ружене, погладил ее по руке и сказал, что платье идет ей. Она скромно возразила ему, но он настаивал на своем и пытался какое-то время не уклоняться от темы ее очарования. Сказал, что поражен ее внешностью. Что все два месяца думал о ней, однако все художественные усилия его воспоминаний создали образ, далекий от реальности. И удивительно: хотя он и думал о ней, изнывая от желания, ее настоящий облик превосходит тот, воображаемый.

Ружена заметила, что два месяца трубач вообще не давал о себе знать, и потому просто не верится, что он так много думал о ней.

К этому замечанию он хорошо подготовился. Устало махнув рукой, он сказал, что ей трудно будет даже представить себе, как ужасно он провел эти два месяца. Девушка спросила, что же случилось с ним, но он не захотел вдаваться в подробности. Сказал лишь, что пережил удар великой неблагодарности и остался в полном

одиночестве, без друзей, без единого близкого человека. Он несколько опасался, как бы Ружена не стала расспрашивать о подробностях его переживаний, ибо он легко мог запутаться во лжи. Опасения, правда, были напрасными. Хотя Ружену и впечатлили слова Климы о том, что он пережил дурной период, и она с удовлетворением приняла их как оправдание его двухмесячного молчания, собственное содержание его страданий оставляло ее совершенно равнодушной. В его грустных месяцах важна была для нее лишь сама грусть.

— Я много думала о тебе и была бы рада помочь,— сказала она.

— Мне так тошен был весь мир, что я боялся попасться кому-либо на глаза. Грустный собеседник — плохой собеседник.

— Мне тоже было грустно,— сказала она.

— Я знаю.— Он гладил ее по руке.

— Я уже давно поняла, что жду от тебя ребенка. А ты не отзывался. Но ребенка я все равно бы оставила, даже если бы ты и не приехал ко мне, даже если бы никогда не захотел меня видеть. Я говорила себе: даже если останусь совсем одна, у меня будет хотя бы твой ребенок. Я никогда бы не дала его уничтожить. Нет, никогда…

В эту минуту Клима потерял дар речи, ибо все его мысли сковал тихий ужас.

К счастью, официант, лениво обслуживавший гостей, остановился наконец возле их столика и спросил, что им угодно.

— Коньяк,— вздохнул трубач и тотчас поправился: — Два коньяка.

И вновь наступила тишина, и Ружена вновь прошептала:

— Ни за что на свете я не дала бы его уничтожить.

— Не говори так,— наконец пришел в себя Клима.— Это же не только твое дело. Это касается не только женщины. Это касается обоих. И в этом деле оба должны быть заодно. Иначе все может плохо кончиться.

Договорив это, он тотчас смекнул, что именно сейчас он косвенно признал свое отцовство и что с этой минуты ему придется говорить с Руженой уже только на основании такого признания. Хотя он знал, что действует по плану, что это лишь уступка, которую он учитывал заранее, он все же испугался своих слов.

Но тут над ним склонился официант с двумя рюмками коньяка.

— Так вы пан трубач Клима!

— Да,— сказал Клима.

— Девушки на кухне узнали вас. Это же вы на этой афише?

— Да,— сказал Клима.

— Вы кумир всех женщин от двенадцати до семидесяти! — сказал официант и обратился к Ружене: — Все бабы глаза тебе от зависти повыцарапают! Удаляясь, он несколько раз обернулся с назойливо-доверительной улыбкой. Ружена снова повторяла:

— Я никогда не смогла бы его уничтожить. И когда-нибудь ты тоже будешь рад, что он есть у тебя. Я ведь ничего от тебя не хочу. Надеюсь, ты не думаешь, что я чего-то хочу от тебя. На этот счет будь совершенно спокоен. Это только мое дело, и пусть тебя ничего не тревожит.

Может ли что-нибудь больше взволновать мужчину, чем такие успокаивающие слова? Клима вдруг почувствовал, что он бессилен что-либо спасти и что самое лучшее от всего отступиться. Он молчал, Ружена тоже молчала, так что сказанные ею слова продолжали расти в тишине, и трубач чувствовал себя перед ними все более беспомощным и несчастным.

Но вдруг в мыслях всплыл образ жены. Нет, у него нет права отступать. И он, продвинув руку

по мраморной столешнице, взял пальцы Ружены, стиснул их и сказал:

— Забудь пока о ребенке. Ребенок вовсе не самое главное. Думаешь, нам с тобой не о чем больше говорить? Думаешь, я приехал к тебе только ради ребенка?

Ружена пожала плечами.

— Главное, что мне без тебя было грустно. Виделись мы так мало. И при этом не проходило дня, чтобы я не вспоминал о тебе.

Он замолчал, и Ружена сказала:

— Целых два месяца ты вообще не отзывался, а я тебе два раза писала.

— Не сердись на меня,— сказал трубач.— Я умышленно не отвечал на твои письма. Не хотел. Боялся того, что творится во мне. Сопротивлялся любви. Хотел написать тебе длинное письмо, исписал не один лист бумаги, но в конце концов выбросил все. Никогда не случалось, чтобы я так был влюблен, и я ужаснулся этого. И почему бы мне не признаться? Я хотел проверить, не минутной ли очарованностью было мое чувство. И я сказал себе: если я и второй месяц буду так одержим ею, значит, то, что я испытываю к ней, отнюдь не мираж, а реальность.

— А что ты сейчас думаешь? — тихо сказала

Ружена.— Это всего лишь мираж?

После этой Руженины фразы трубач понял, что задуманный план начинает у него вытанцовываться. Поэтому он, так и не отпуская руки девушки, продолжал говорить дальше, все свободнее и свободнее: в эту минуту, когда он сидит напротив нее, он понимает, что излишне подвергать свое чувство дальнейшему испытанию, все ясно и так. О ребенке он не хочет говорить, потому что для него главное — Ружена, а не ее ребенок. Значение этого нерожденного ребенка прежде всего в том, что он позвал его к Ружене. Да, этот ребенок, который в ней, позвал его сюда на воды и дал ему возможность постичь, как он любит Ружену, а посему (он поднял рюмку коньяка) он хочет выпить за этого ребенка.

Конечно, он тут же испугался, до какого чудовищного тоста довело его столь вдохновенное красноречие. Но слова уже слетели с уст. Ружена подняла рюмку и прошептала:

— Да. За нашего ребенка,— и выпила коньяк.

Трубач быстро постарался замять этот неудачный тост и снова заявил, что вспоминал Ружену ежедневно, ежечасно.

Она сказала, что в столице трубач несомненно окружен более интересными женщинами, чем

она.

Он ответил ей, что по горло сыт их неестественностью и самонадеянностью и всех их променял бы на Ружену, жалеет только, что она работает так далеко от него. А не хотела бы она перебраться в столицу?

Она ответила, что в столице жить было бы лучше. Но там нелегко устроиться на работу.

Снисходительно улыбнувшись, он сказал, что в столичных больницах у него много знакомых и найти для нее работу ему было бы несложно.

Держа Ружену за руку, он еще долго говорил в том же духе и даже не заметил, как к ним подошла незнакомая девочка. Нимало не смущаясь тем, что прерывает их разговор, она восторженно сказала:

— Вы пан Клима! Сразу узнала вас! Я хочу, чтоб вы вот тут поставили свое имя!

Клима покрылся краской. Он осознал, что Держит Ружену за руку и объясняется ей в любви в общественном месте на глазах у всех присутствующих. Ему показалось, что он сидит здесь, точно на сцене амфитеатра, и весь мир, превращенный в забавляющуюся публику, со злорадным смехом наблюдает за его борьбой не на жизнь, а на смерть.

Девочка подала ему четвертушку бумажного листа, и Клима хотел было поскорей расписаться, однако ни у нее, ни у него не оказалось при себе ручки.

— У тебя нет ручки? — прошептал он Ружене, именно прошептал, поскольку не хотел, чтобы было слышно, как он обращается к Ружене на «ты». Правда, он тут же сообразил, что «тыкание» гораздо менее интимная вещь, чем то, что он держит Ружену за руку, и потому свой вопрос повторил уже громче: — У тебя нет ручки?

Но Ружена отрицательно покачала головой, и девочка вернулась к своему столику, где сидела в компании нескольких юношей и девушек; тут же, воспользовавшись случаем, они гурьбой повалили к Климе. Подали ему ручку и, вырывая из маленького блокнота по листочку, протягивали их для автографа.

С точки зрения намеченного плана все было в порядке. Чем больше людей оказывалось свидетелями их близости, тем скорее Ружена могла поверить в то, что она любима. Однако вопреки разуму иррациональность страха повергла трубача в панику. Он подумал было, что Ружена со всеми договорилась. В его воображении возникла туманная картина того, как все эти люди дают

свидетельские показания о его отцовстве: «Да, мы их видели, они сидели друг против друга, как любовники, он гладил ее по руке и влюбленно смотрел ей в глаза…»

Страхи трубача еще усиливались его тщеславием; он не считал Ружену достаточно красивой, чтобы позволить себе держать ее за руку. Но он недооценивал ее: она была гораздо красивей, чем казалась ему в эту минуту. Подобно тому, как влюбленность делает любимую женщину еще красивей, страх перед вселяющей опасение женщиной непомерно преувеличивает каждый ее изъян.

Наконец все отошли от них, и Клима сказал:

— Это заведение мне не очень-то по душе. Прокатиться не хочешь?

Его машина вызывала в ней любопытство, и она согласилась. Клима расплатился, и они вышли из винного погребка. Напротив был небольшой парк с широкой аллеей, посыпанной желтым песком. Лицом к винному погребку стояло в ряд человек десять. Все это были пожилые мужчины, на рукавах измятой одежды у каждого была красная повязка, и все держали в руках длинные палки.

Клима замер:

— Что это?

Но Ружена сказала:

— Да ничего, покажи мне, где твоя машина,— и быстро увлекла его за собой.

Но Клима был не в состоянии оторвать глаз от этих людей. Он никак не мог взять в толк, к чему эти длинные жерди с проволочными петлями на конце. Эти люди походили на фонарщиков, зажигающих газовые лампы, на рыбаков, отлавливающих летающих рыб, на ополченцев, вооруженных таинственным оружием.

Он смотрел на них, и вдруг показалось, что один улыбается ему. Он испугался этого, скорей испугался самого себя, решив, что у него галлюцинация и что он во всех людях видит кого-то, кто преследует его и выслеживает. И потому, ускорив шаг, поспешил за Руженой на стоянку.

9

— Я хотел бы уехать с тобой куда-нибудь далеко,— сказал он. Одной рукой он обнимал Ружену за плечи, другой — держал руль.— Куда-нибудь далеко на юг. По длинному шоссе, идущему вдоль побережья. Ты была в Италии?

— Нет.

— Тогда обещай поехать туда со мной.

— А ты не фантазируешь?

Ружена сказала это лишь из скромности, но трубач вдруг испугался, что ее «а ты не фантазируешь» относится ко всей его демагогии, которую она раскусила.

— Да, фантазирую. У меня всегда фантазерские идеи. Уж такой я. Но в отличие от других я свои фантазерские идеи осуществляю. Поверь, нет ничего более прекрасного, чем осуществлять фантазерские идеи. Я хотел бы, чтобы моя жизнь была сплошным фантазерством. Хотел бы, чтобы мы уже никогда не вернулись на этот курорт, чтобы ехали все дальше и дальше, пока не приедем к морю. Я устроился бы там в каком-нибудь оркестре, и мы ездили бы с тобой из одного приморского местечка в другой.

Он остановил машину там, где открывался чудесный вид на окрестности. Они вышли. Он предложил ей пройтись по лесу. Спустя какое-то время они сели на деревянную лавочку, сохранившуюся еще с той поры, когда здесь меньше проезжало машин и прогулки по лесу пользовались большим успехом. Обнимая ее за плечи, он сказал печальным голосом:

— Все думают, что у меня куда как веселая жизнь. Но это величайшая ошибка. На самом де-

ле я ужасно несчастен. Не только эти последние месяцы, а уже долгие годы.

Если слова трубача о поездке в Италию показались ей фантазерством (из ее страны мало кто мог свободно выезжать за границу) и она испытывала к ним смутное недоверие, печаль, которой дышали его последние фразы, имела для нее сладостный запах. Она вдыхала его, словно аромат свиного жаркого.

— Как ты можешь быть несчастным?

— Могу ли я быть несчастным…— печально повторил трубач.

— У тебя слава, шикарная машина, деньги, красивая жена…

— Красивая, пожалуй, но…— сказал трубач горестно.

— Знаю,— сказала Ружена.— Но она уже не молода. Ей столько же, сколько тебе, да?

Трубач понял, что Ружена подробно информирована о его жене, и рассердился. Однако продолжал:

— Да, ей столько же, сколько мне.

— Подумаешь. Ты совсем не старый. Выглядишь как мальчишка,— сказала Ружена.

— Но мужчине нужна более молодая женщина,— сказал Клима.— А артисту тем более.

Мне нужна молодость, ты даже не представляешь, Ружена, как я люблю в тебе твою молодость. Иной раз мне кажется, что я больше не выдержу. У меня безумное желание освободиться. Начать все сначала и по-другому. Ружена, твой вчерашний звонок... У меня было такое чувство, что это указание, посланное мне судьбой.

— Правда? — сказала она тихо.

— А почему, думаешь, я тут же позвонил тебе снова? Я почувствовал, что не должен ничего откладывать. Что должен видеть тебя сию же минуту...— Он замолчал и долгим взглядом посмотрел ей в глаза: — Ты любишь меня?

— Люблю. А ты?

— Я ужасно тебя люблю,— сказал он.

— Я тоже.

Он наклонился и прижал свои губы к ее рту. Это был чистый рот, молодой рот с красиво очерченными мягкими губами и вычищенными зубами, все в нем было в порядке, ведь два месяца тому его тянуло целовать ее рот. Но именно потому, что тогда тянуло целовать этот рот, он воспринимал его сквозь пелену желания и ничего не знал о его истинной сути: язык во рту походил на пламя, а слюна была пьянящим напитком. Теперь рот, уже не манивший его, стал вдруг реальным

(всего-навсего!) ртом, тем самым хлопотливым отверстием, сквозь которое в девушку вошли уже центнеры кнедликов, картошки и супов, на зубах виднелись маленькие пломбочки, а слюна была не пьянящим напитком, а лишь родной сестрой плевка. Рот трубача был полон ее языка, словно это был какой-то несъедобный кусок, который нельзя ни проглотить, ни выплюнуть.

Наконец поцелуй кончился, они поднялись и пошли дальше. Ружена была почти счастлива, однако сознавала, что повод, по которому она звонила трубачу и принудила его приехать, так и остался в их разговоре странно обойденным. Впрочем, она и не собиралась о нем распространяться. Напротив, то, о чем они говорили сейчас, она считала более приятным и важным. Но ей хотелось, чтобы этот обойденный повод все-таки присутствовал в их встрече, пусть очень деликатно, неброско, скромно. И потому, когда Клима вслед за бесконечными любовными признаниями заявил, что сделает все возможное, чтобы жить с Руженой, она обронила:

— Ты очень хороший, но нам надо думать и о том, что я уже не одна.

— Да,— сказал Клима, сознавая, что сейчас настал момент, которого он непрестанно боялся:

самое уязвимое место в его демагогии.

— Да, ты права,— сказал он.— Ты не одна, но это вовсе не главное. Я хочу быть с тобой потому, что люблю тебя, а не потому, что ты беременна.

— Понимаю,— вздохнула Ружена.

— Нет ничего более тягостного, чем брак, который возникает лишь из-за того, что по ошибке был зачат ребенок. Впрочем, дорогая, если говорить откровенно, я хочу, чтобы ты снова стала такой, как прежде. Чтобы мы снова были только вдвоем и никого третьего между нами не было. Ты понимаешь меня?

— Ну нет, так не получится, я не могу, я никогда не смогла бы… сопротивлялась Ружена.

Она говорила так не потому, что была действительно до глубины души убеждена в этом. Чувство уверенности, которое позавчера вселил в нее доктор Шкрета, было столь свежим, что она еще не знала, как быть с ним. Она не придерживалась никакого точно рассчитанного плана, она была лишь переполнена сознанием своей беременности и воспринимала ее как великое событие и еще более как шанс и возможность, которая так легко уже не представится. Она чувствовала себя пешкой, которая только что дошла до края шахматной доски и стала королевой. Она

сладостно ощущала свою неожиданную и дотоле неизведанную силу. Она видела, что по ее призыву вещи приходят в движение, что знаменитый трубач приезжает к ней из столицы, катает ее на роскошной машине, объясняется ей в любви. Она не могла сомневаться в том, что между ее беременностью и этой внезапной силой существует определенная связь. И если она не хотела отказаться от этой силы, то не могла отказаться и от беременности.

Поэтому трубач продолжал толкать свой тяжкий камень в гору:

— Дорогая, я не мечтаю о семье. Я мечтаю о любви, а ребенок превращает всякую любовь в семью. В скуку. В заботы. В тоску. И всякую любовницу в мать. Ты для меня не мать. Ты любовница, и я не хочу ни с кем делить тебя. Даже с ребенком.

Это были прекрасные слова, Ружена с удовольствием слушала их, но по-прежнему качала головой:

— Нет, я не смогла бы. Это все-таки твой ребенок. Я не смогла бы уничтожить твоего ребенка.

Не находя уже никаких новых аргументов, он повторял одни и те же слова и боялся, как бы она не уловила их неискренность.

— Но тебе уже тридцать,— сказала она.— Разве

ты никогда не мечтал о ребенке?

Он и вправду не мечтал о ребенке. Он так любил Камилу, что ребенок рядом с ней мешал бы ему. Все, что он минуту назад говорил Ружене, было не пустой выдумкой. Точно такие же фразы он уже много лет искренно и прямодушно говорил своей жене.

— Ты уже шесть лет женат, а детей у вас нет. Я была так счастлива, что могу подарить тебе ребенка.

Он чувствовал, как все оборачивается против него. Не представляя себе безграничности его любви к Камиле, Ружена все сводила лишь к ее бесплодию, и это толкало девушку на дерзкую смелость.

Уже холодало, солнце клонилось к горизонту, время убегало, а он еще и еще раз повторял то, что уже сказал ей, а она повторяла свое «нет, нет, я бы не смогла». Он чувствовал, что зашел в тупик, не знал, за что ухватиться, и ему казалось, что он проигрывает. Он так нервничал, что забывал держать ее за руку, забывал целовать ее и насыщать голос нежностью. С испугом осознав это, он попытался взбодриться. Он остановился, улыбнулся и обнял ее. Это было объятие усталости. Он прижимал ее к себе, приникнув головой к ее лицу, и так,

по сути опираясь на нее, отдыхал, переводил дух, ибо ему казалось, что перед ним дальняя дорога, на которую у него нет больше сил.

Но и Ружена была на исходе сил. И ей уже не хватало никаких аргументов, и она чувствовала, что ее жалкое «нет» нельзя до бесконечности повторять мужчине, которого хочешь завоевать.

Объятие длилось долго, и когда Клима выпустил ее из рук, она, склонив голову, смиренно проговорила:

— Тогда подскажи мне, что я должна делать.

Клима не поверил своим ушам. Это пришло внезапно, нежданно и принесло неизмеримое облегчение. Столь неизмеримое, что ему пришлось всячески сдерживать себя, чтобы не выказать этого. Он погладил девушку по лицу и сказал, что главный врач Шкрета — его добрый знакомый и что будет достаточно, если Ружена через три дня предстанет перед комиссией. Он пойдет с ней. Она ничего не должна бояться.

Ружена не возражала, и он снова вошел во вкус своей роли. Он обнимал ее за плечи и, поминутно останавливаясь, целовал ее (радость была так велика, что поцелуй снова был окутан туманной пеленой). Он опять завел речь о том, что Ружена сможет перебраться в столицу. И даже вновь

заговорил о поездке к морю.

А потом солнце спряталось за горизонт, на лес упали сумерки, и над макушками елей взошла круглая луна. Они направились к машине. Но когда подходили к шоссе, оказались в свете прожектора. Сперва им показалось, что мимо проезжает машина с зажженными фарами, но потом стало ясно, что свет неотступно преследует их. Он исходил от мотоцикла, припаркованного на противоположной стороне шоссе; на мотоцикле сидел человек, наблюдавший за ними.

— Пожалуйста, пойдем быстрее,— сказала Ружена.

Когда они приблизились к машине, человек, сидевший на мотоцикле, слез с него и пошел к ним навстречу. Трубач видел лишь темный силуэт, ибо фары мотоцикла освещали мужчину сзади, а его и Ружену спереди.

— Иди сюда! — бросился мужчина к Ружене.— Давай поговорим! Нам есть что сказать друг другу! О многом надо поговорить! — кричал он возмущенно и растерянно.

Трубач тоже был возмущен и растерян, но, не подозревая истинной подоплеки происходящего, был задет лишь наглой неучтивостью незнакомца:

— Девушка со мной, а не с вами,— воскликнул он.

— А к вам у меня особый разговор! — кричал незнакомец трубачу. Думаете, если знаменитость, так вам все дозволено! Думаете, можете дурить ее! Можете морочить ей голову! Вам это запросто! Будь я на вашем месте, я бы тоже сумел!

Ружена воспользовалась минутой, когда мотоциклист повернулся к трубачу, и проскользнула в машину. Мотоциклист подскочил к машине. Но окно было закрыто, и девушка включила радио. Раздалась громкая музыка. Затем в машину проскользнул и трубач и захлопнул за собой дверь. Оглушительно гремела музыка. Сквозь стекло они видели лишь силуэт мужчины, кричавшего что-то и жестикулировавшего руками.

— Ненормальный какой-то, он все время меня преследует,— сказала Ружена.— Пожалуйста, поезжай быстрей!

10

Он припарковал машину, подвел Ружену к дому Маркса, поцеловал ее, и когда она скрылась за дверью, почувствовал такую усталость, словно не спал четыре ночи подряд. Был уже поздний вечер, он хотел есть, но казалось, нет сил сесть

за руль и вести машину. Затосковав вдруг по утешительным словам Бертлефа, он взял наперерез через парк к Ричмонду.

Когда он подошел к подъезду, в глаза ему бросилась большая афиша, на которую падал свет уличного фонаря. На ней крупными неровными буквами было написано его имя, и под ним, буквами помельче, имя Шкреты и аптекаря-пианиста. Афиша была изготовлена ручным способом и сопровождалась любительским изображением золотой трубы.

Скорость, с которой доктор Шкрета разрекламировал концерт, трубач счел добрым предзнаменованием, ибо, по всей вероятности, свидетельствовала о его надежности. Трубач вбежал по лестнице вверх и постучал в дверь Бертлефа.

Ни звука.

Он снова постучал, и снова ему ответила тишина.

Прежде чем он успел подумать о несвоевременности своего прихода (американец славился своими обширными связями с женщинами), его рука уже нажала на ручку. Дверь была не заперта. Трубач шагнул в комнату и замер. Он ничего не видел. Не видел ничего, кроме сияния,

разливавшегося из угла комнаты. Сияние было особенным; оно не походило ни на белое дневное освещение, ни на желтый свет электрической лампы. Это был голубоватый свет, заливавший всю комнату.

Но в эту минуту запоздалая мысль трубача уже настигла его опрометчивую руку и подсказала ему, что он допускает нечто бестактное, вторгаясь незваным гостем в столь поздний час в чужую комнату. Он ужаснулся своей невоспитанности, снова отступил в коридор и поспешно закрыл за собой дверь.

Однако он был настолько растерян, что не ушел, а остался стоять у двери, стараясь осмыслить странное сияние.

Он было подумал, что американец, раздевшись в комнате догола, купается в ультрафиолетовых лучах горного солнца. Но тут открылась дверь, и появился Бертлеф. Голым он не был, на нем был тот же костюм, надетый утром. Улыбаясь трубачу, он сказал:

— Рад, что вы еще раз зашли. Милости прошу!

Трубач настороженно вошел в комнату, но она была освещена обычной, свисавшей с потолка люстрой.

— Боюсь, что побеспокоил вас! — сказал тру-

бач.

— Да полноте! — ответил Бертлеф и кивнул на окно, откуда за минуту до этого, как показалось трубачу, исходило голубоватое сияние.— Я предавался размышлениям. Ничего больше.

— Когда я вошел, простите мое неожиданное вторжение, я видел здесь совершенно необыкновенное сияние.

— Сияние? — Бертлеф рассмеялся: — Вам не следует так относиться к этой беременности. Из-за нее у вас галлюцинации.

— Может, это было вызвано тем, что я вошел сюда из темного коридора.

— Возможно,— сказал Бертлеф.— Но рассказывайте, чем все кончилось.

Трубач принялся рассказывать, но Бертлеф вскоре прервал его:

— Вы голодны?

Трубач кивнул. Бертлеф вынул из шкафа пакет печенья и банку с ветчиной, которую тут же открыл.

И Клима продолжил свой рассказ, жадно глотая ужин и вопросительно глядя на Бертлефа.

— Полагаю, что все хорошо кончится,— успокоил его Бертлеф.

— А как вы думаете, что это был за человек,

который ждал нас у машины? Бертлеф пожал плечами:

— Не знаю. Да имеет ли это сейчас какое-либо значение!

— В самом деле. Лучше подумать о том, как объяснить Камиле, почему эта конференция так затянулась.

Было довольно поздно. Подкрепившись и успокоившись, трубач сел в машину и покатил в столицу. Большая круглая луна освещала ему путь.

День третий

1

Среда, утро, и проснувшийся курорт вновь бурлит жизнью. Струи воды изливаются в ванны, массажисты упираются ладонями в обнаженные спины, а к стоянке только что подкатила легковая машина. Но не роскошный лимузин, что вчера был припаркован на том же месте, а обыкновенная машина, какой владеют большинство граждан этой страны. За рулем сидел мужчина лет сорока пяти. На заднем сиденье громоздилось несколько чемоданов.

Мужчина вышел, запер дверь, заплатил сторожу стоянки пять крон и направился к дому Маркса; по его коридорам подошел к двери, на которой была табличка с именем доктора Шкреты. Он вошел в приемную и постучал в дверь кабинета. Выглянула сестричка, мужчина представился ей, и минуту спустя появился доктор Шкрета.

— Якуб! Когда ты приехал?

— Только что!

— Потрясающе! Надо о многом поговорить!.. Знаешь что...— сказал он после короткого разду-

мья: — Сейчас я уйти не могу. Пойдем со мной в кабинет. Дам тебе халат!

Якуб не был врачом и никогда не переступал порога гинекологического кабинета. Но доктор Шкрета уже схватил его под руку и ввел в белоснежное помещение, где на смотровом кресле лежала обнаженная женщина с раздвинутыми ногами.

— Дайте господину доктору халат,— сказал доктор Шкрета санитарке; та открыла шкаф и подала Якубу белую докторскую хламиду.

— Поди-ка взгляни. Я хотел, чтобы ты подтвердил мой диагноз,— подозвал он Якуба к женщине, которая была явно польщена тем, что тайна ее яичников, не способных, несмотря на все усилия, произвести на свет ни одного потомка, будет разгадана двумя светилами.

Доктор Шкрета снова взялся прощупывать внутренности пациентки и изрек два-три латинских слова, в ответ на которые Якуб утвердительно промычал. Затем доктор спросил:

— Сколько ты здесь пробудешь?

— День.

— День? Это страшно мало, мы ни о чем не успеем поговорить!

— Когда вы здесь нажимаете, мне больно,— ска-

зала женщина с поднятыми ногами.

— Здесь должно немножко болеть, это нормально,— сказал Якуб, чтобы позабавить приятеля.

— Да, пан доктор прав,— сказал Шкрета,— это нормально. Все в порядке. Я пропишу вам курс инъекций. Будете приходить сюда к сестре в шесть утра ежедневно. Оденьтесь, пожалуйста.

— Я приехал, в сущности, проститься с тобой,— сказал Якуб.

— Как это проститься?

— Уезжаю за границу. Мне разрешили выехать.

Женщина, меж тем одевшись, простилась с доктором Шкретой и его коллегой.

— Вот это новость! Не ожидал! — удивился Шкрета.— Отошлю всех баб по домам, раз ты приехал проститься со мной.

— Пан доктор,— вмешалась в разговор сестра.— Вчера вы тоже всех отослали. К концу недели у нас будет большой недобор!

— Что ж, пригласите следующую,— сказал доктор Шкрета и вздохнул.

Сестричка пригласила следующую больную, и приятели, окинув ее беглым взглядом, отметили про себя, что она куда привлекательнее предыдущей. Доктор Шкрета поинтересовался,

как она чувствует себя после ванн, и предложил ей раздеться.

— Чертовски долго тянулось, пока мне оформляли паспорт,— сказал Якуб.— Но, получив его, уже через два дня я был готов к отъезду. Не хотелось даже ни с кем прощаться.

— Тем приятнее, что ты заехал сюда,— сказал доктор Шкрета и предложил молодой женщине взобраться на смотровое кресло. Затем натянул резиновую перчатку и запустил руку в ее утробу.

— Мне хотелось видеть только тебя и Ольгу. Надеюсь, она в порядке.

— Можешь не беспокоиться,— сказал Шкрета, но по его голосу чувствовалось, что он отвечает Якубу машинально. Он был целиком поглощен пациенткой: — Нам придется прибегнуть к небольшому оперативному вмешательству,— сказал он.— Не волнуйтесь, это абсолютно не больно.— Он подошел к застекленному шкафу и вынул шприц, на который вместо иглы был насажен короткий пластмассовый наконечник.

— Что это? — спросил Якуб.

— За эти долгие годы я разработал некоторые новые, весьма продуктивные методы. Можно считать эгоизмом с моей стороны, но пока они остаются тайной.

— Значит, я не должна бояться? — голосом скорее кокетливым, чем испуганным, спросила женщина, лежавшая с раздвинутыми ногами.

— Ничуть,— ответил доктор Шкрета и опустил шприц в пробирку, с которой обращался чрезвычайно бережно. Потом подошел к женщине, сунул шприц ей в межножье и нажал на поршень.— Больно было?

— Нет,— сказала она.

— Я приехал еще и затем, чтобы отдать тебе таблетку,— сказал Якуб.

Но доктор Шкрета не обратил особого внимания на его фразу. Он по-прежнему был поглощен своей пациенткой. Оглядев ее с головы до ног, он с серьезным, вдумчивым выражением на лице сказал:

— С вашими данными было бы действительно обидно не иметь детей. У вас красивые длинные ноги, хорошо поставленный таз, прекрасная грудная клетка и очень приятные черты лица.

Затем он коснулся лица женщины, ощупал ее подбородок и сказал:

— Отличная челюсть, все очень хорошо смоделировано.

Ощупал он и ее бедро:

— У вас исключительно крепкие кости. Они

просто светятся из-под ваших мышц.

Доктор еще минуту-другую любовался своей пациенткой, обследуя ее тело; она не возражала, не смеялась игриво, ибо серьезная заинтересованность доктора отодвигала его прикосновения далеко за грань какой-либо порочности.

Наконец кивком он велел ей одеться и обратился к приятелю:

— Что ты сказал?

— Что приехал отдать тебе таблетку.

— Какую таблетку?

Женщина оделась и спросила:

— Значит, вы, пан доктор, думаете, что я могу надеяться?

— Я целиком удовлетворен,— сказал доктор Шкрета.— Думаю, дела пойдут хорошо, и мы оба, вы и я, можем рассчитывать на успех.

Поблагодарив, женщина удалилась из кабинета, и Якуб сказал:

— Ты когда-то дал мне таблетку, какую никто другой дать мне не хотел. Поскольку я уезжаю, она, думается, мне уже никогда не понадобится, и я решил тебе ее вернуть.

— Оставь у себя. Такая пилюлька может быть одинаково полезна как здесь, так и в другом месте.

— Нет, нет. Эта таблетка принадлежит этой стране. Я хочу оставить этой стране все, что принадлежит ей,— сказал Якуб.

— Пан доктор, я приглашу следующую пациентку,— сказала сестра.

— Отправьте этих дамочек домой,— сказал доктор Шкрета.— Сегодня я уже достаточно поработал. Увидите, что эта последняя молодуха непременно родит. Для одного дня немало, не правда ли?

Сестра смотрела на доктора Шкрету с обожанием, но при этом без особого послушания.

Доктор понял ее взгляд:

— Хорошо, не отправляйте их никуда и скажите, что я через полчаса вернусь.

— Пан доктор, вчера тоже было «на полчаса», а мне пришлось гоняться за вами по улице.

— Не беспокойтесь, сестричка, через полчаса я вернусь,— сказал доктор Шкрета и попросил Якуба снять халат. Затем вывел его из здания и наперерез через парк направился с ним к Ричмонду.

2

Они поднялись на второй этаж и по длинному красному ковру прошли в самый конец коридора.

Там доктор Шкрета открыл дверь в маленькую, но приятную комнату.

— Молодец,— сказал Якуб.— Ты всегда находишь здесь для меня какое-нибудь пристанище.

— Теперь у меня в этом конце коридора комнаты для моих подопечных. Рядом с тобой прекрасные угловые апартаменты, которые в прежние времена занимали министры и фабриканты. Там я поселил своего самого редкостного пациента, богатого американца, чей род ведет начало из этих мест. Отчасти он и мой друг.

— А где живет Ольга?

— В доме Маркса, как и я. Ей там неплохо, не беспокойся.

— Главное, что ты принял ее. Как у нее дела?

— Обычные трудности женщины с лабильной нервной системой.

— Я же писал тебе, какая у нее была жизнь.

— Большинство женщин ездят на этот курорт, чтобы вылечиться от бесплодия. Что же касается твоей протеже, то было бы лучше, если бы она не отличалась особыми способностями к деторождению. Ты видел ее обнаженной?

— Упаси Боже, что ты!

— Ну так посмотри на нее! Сисенки маленькие и свисают на грудной клетке, точно две сливы.

Все ребра видны. Мой совет на будущее: больше внимания обращай на грудную клетку. Правильная грудная клетка должна быть агрессивной, устремленной вовне, она должна расширяться, словно желая поглотить как можно больше пространства. Но в противовес этому существуют и грудные клетки, что пребывают в обороне, отступают перед окружающим миром и подобны смирительной рубашке, которая все больше затягивается вокруг человека, пока наконец не задушит его. Вот и у нее такая грудная клетка. Скажи ей, пусть тебе покажет ее.

— Этого я ей не скажу.

— Боишься, что, увидев ее, не захочешь больше считать ее своей протеже…

— Напротив,— сказал Якуб,— боюсь, что мне станет ее еще жальче.

— Друг мой,— сказал Шкрета,— этот американец весьма любопытный человек.

Якуб спросил:

— Где мне найти ее?

— Кого?

— Ольгу.

— Сейчас ее не найдешь. Она на процедурах. По утрам ей предписано быть в бассейне.

— Не хотелось бы разминуться с ней. Позвонить

ей нельзя?

Доктор Шкрета поднял трубку, набрал номер, не переставая при этом разговаривать с приятелем:

— Я тебе представлю его, а ты его прощупай. Ты знаменитый психолог. Ты раскусишь его. У меня на него кое-какие виды.

— Какие? — спросил Якуб, но доктор Шкрета уже говорил в трубку:

— Сестра Ружена? Как у вас дела?.. Ничего особенного, такие тошноты в вашем состоянии совершенно естественны. Я хотел бы спросить у вас, нет ли сейчас в бассейне моей пациентки, той, что живет рядом с вами… Да? Тогда передайте ей, что к ней приехал гость из столицы, пусть никуда не уходит… В двенадцать он будет ждать ее у входа в водолечебницу.

Шкрета повесил трубку.

— Ты слышал. В поддень встретишься с ней. Черт подери, о чем мы с тобой говорили?

— Об этом американце.

— Да,— сказал Шкрета.— Весьма занятный малый. Я вылечил его жену. Они не могли иметь детей.

— А он что лечит здесь?

— Сердце.

— Ты говорил, что у тебя на него какие-то ви-

ды.

— Как только не приходится вертеться врачу в этой стране, дабы жить на достойном уровне! — вскипел Шкрета.— Завтра приезжает сюда с концертом знаменитый трубач Клима. Я буду играть на барабане!

Якуб отнесся к словам Шкреты не очень серьезно, однако изобразил удивление:

— Как? Ты играешь на барабане?

— Представь себе, дружище. Что делать, коли я теперь человек семейный!

— Да что ты? — на сей раз искренно удивился Якуб.— Семейный? Ты, значит, женился.

— Вот именно,— сказал Шкрета.

— На Зузи?

Зузи была курортным врачом. Шкрета уже долгие годы был с ней в близких отношениях, но пока ему удавалось в последнюю минуту увиливать от женитьбы.

— Да, на Зузи,— сказал Шкрета.— Ты же знаешь, что мы с ней каждое воскресенье поднимались на смотровую площадку…

— Значит, ты все-таки женился,— тоскливо сказал Якуб.

— Так вот, всякий раз, когда мы поднимались наверх, Зузи уговаривала меня жениться на

ней. А я бывал так измотан этим восхождением, что чувствовал себя стариком и ни на что, кроме женитьбы, не годным. Но под конец я таки овладевал собой, и уже при спуске ко мне возвращалась бодрость и желание жениться исчезало. А однажды Зузи пошла обходным путем, и это восхождение так затянулось, что я согласился на свадьбу еще задолго до его конца. А сейчас мы ждем ребенка, и мне приходится думать о деньгах. Этот американец, надо сказать, рисует еще и иконки. Они могли бы принести немалые деньги. Что ты скажешь на это?

— Ты считаешь, что иконки пользуются большим спросом?

— Колоссальным! Друг мой, поставить здесь у церкви в храмовый праздник ларек и продавать иконки по сотне — считай, мы набили карман! Я бы продавал их и половину прибыли отдавал ему.

— А он что на это?

— У этого малого денег куры не клюют, и ни на какую коммерцию подбить его невозможно! — сказал Шкрета и чертыхнулся.

3

Ольга прекрасно видела, что с края бассейна машет ей сестра Ружена, но продолжала плавать, как бы не замечая этого.

Эти две женщины недолюбливали друг друга. Доктор Шкрета поселил Ольгу в комнате, соседствовавшей с Руженина. Ружена имела привычку включать радио на полную громкость, тогда как Ольга вожделела тишины. Не раз она стучала в стену, но медсестра в ответ лишь усиливала звук.

Ружена терпеливо махала до тех пор, пока ей не удалось передать пациентке, что в двенадцать часов к ней пожалует гость из столицы.

Ольга сразу поняла, что это Якуб, и ее охватила бесконечная радость. Но тут же следом она удивилась своей радости: почему я так радуюсь, узнав о его приезде?

А надо сказать, что Ольга относилась к тому типу современных женщин, которые умеют раздваиваться: одно существо в них переживает различные чувства, другое — наблюдает.

Но и Ольга наблюдающая испытывала радость. Она прекрасно сознавала, что столь дикая радость Ольги переживающей несоразмерна событию,

но поскольку была злорадной, то испытывала удовольствие именно от этой несоразмерности. Ее забавляла мысль о том, как испугался бы Якуб, узнай он об остроте ее радости.

Стрелка на часах, висевших над бассейном, показывала без четверти двенадцать. Ольга представляла себе, какой вид сделал бы Якуб, если бы она бросилась ему на шею и страстно поцеловала его. Она подплыла к краю бассейна, вышла и направилась в раздевалку. Было немного досадно, что она не знала о его приезде еще утром. Она постаралась бы приодеться. Серое, неинтересное платьице, которое сейчас было на ней, портило настроение.

Случалось, да вот хоть минутой раньше, когда плавала в бассейне, она забывала о своей внешности. Но теперь она стояла перед маленьким зеркальцем в кабинке и видела себя в сером платьице. Еще две-три минуты назад идея броситься Якубу на шею и страстно поцеловать его вызывала у нее злорадную улыбку. Но эта идея осенила ее в бассейне, где она плавала, не ощущая тела, претворившись в одну лишь свободную мысль. Теперь, наделенная вдруг телом и одеждой, она была бесконечно далека от этого веселого образа и снова осознавала себя именно такой, какой

ее всегда, к несчастью, видит Якуб: девушкой, нуждающейся в помощи.

Если бы Ольга была чуточку глупее, она, быть может, считала бы себя вполне красивой. Но она была умна, и потому казалась себе гораздо непригляднее, чем была на самом деле, ибо, по правде говоря, она не была красивой, но не была и уродливой, и любой мужчина со средними эстетическими запросами охотно провел бы с нею ночь.

Но поскольку Ольга любила раздваиваться, то и сейчас ее наблюдающая половина одергивала переживающую: что особенного в том, как она выглядит? Почему она терзается, глядя на себя в зеркало? Неужто она и вправду не более как предмет мужского внимания? Лишь товар, который сам себя несет на рынок? Неужто она не может быть независимой от своей внешности хотя бы в той мере, в какой независим от нее любой мужчина?

Она вышла из курортного здания и увидела его лицо, осветившееся добродушной нежностью. Она знала, что вместо рукопожатия он погладит ее по голове, как хорошую дочку. Конечно, он так и сделал.

— Куда пойдем обедать? — спросил он.

Она предложила ему поесть в столовой для пациентов: за ее столом свободное место.

Огромное помещение было забито столами и обедающими. Якуб и Ольга, усевшись, долго ждали, пока официантка нальет им в глубокие тарелки супа. За их столом сидели еще двое, которые завязали с Якубом разговор, сразу же зачислив в дружную семью пациентов. И потому Якубу лишь в редкие минуты посреди разговора удавалось спросить Ольгу о каких-то обыденных вещах: довольна ли она столом, врачами, процедурами. На вопрос, как она живет, Ольга ответила, что у нее ужасная соседка, и кивком указала на один из ближних столов, за которым сидела Ружена.

Затем соседи по столу попрощались и ушли, а Якуб, глядя на Ружену, сказал:

— У Гегеля есть весьма любопытное размышление о так называемом греческом профиле, чья красота, по его мнению, основана на том, что нос соединен со лбом одной линией, чем подчеркивается верхняя половина головы — вместилище разума и духа. Глядя на твою соседку, я вижу, что все ее лицо, напротив, сконцентрировано вокруг рта. Посмотри, как она увлеченно жует и при этом громко разговаривает! Акцент, падающий

на нижнюю, чувственную часть лица, внушал бы Гегелю отвращение, хотя эта девушка, не вызывающая, впрочем, у меня симпатии, достаточно красива.

— Тебе так кажется? — спросила Ольга, и в ее голосе прозвучало неудовольствие.

Поэтому Якуб быстро сказал:

— Я боялся бы ее рта, как бы он не изжевал меня.

И добавил еще:

— Ты больше бы устраивала Гегеля. Доминантой на твоем лице выступает лоб, который мгновенно сообщает каждому о твоем уме.

— Такие размышления меня ужасно бесят,— резко сказала Ольга.— Из них всегда вытекает, что лицо человека — оттиск его души. Но это же абсолютная чепуха. Свою душу я представляю с большим подбородком и чувственными губами, тогда как у меня и подбородок и рот маленькие. Если бы я никогда не видела себя в зеркале, но должна была бы описать свою внешность в соответствии с тем, какой я себя вижу изнутри, эта внешность ничуть не походила бы на мою реальную. Я нечто совершенно другое, чем кажусь на первый взгляд!

4

Трудно найти слово, которым можно было бы определить отношение Якуба к Ольге, дочери его друга, казненного, когда ей было семь лет. Якуб уже тогда решил взять под свое покровительство осиротевшую девочку. Детей у него не было, и ему казалось заманчивым приобщиться к некоему необязательному отцовству. В шутку он называл ее своей воспитанницей.

Сейчас они сидели в ее комнате. Ольга включила плитку, поставила на нее кружку с водой, и Якуб почувствовал себя неспособным открыть ей причину своего визита. Всякий раз, когда он собирался сказать ей, что приехал проститься, его охватывал страх, что эта новость прозвучит слишком патетически и что между ними возникнет атмосфера неуместной сентиментальности. Он уже давно подозревал, что Ольга тайно любит его.

Ольга взяла из шкафа две чашки, насыпала в них молотый кофе и залила кипятком. Помешивая кофе, Якуб вдруг услышал, как Ольга сказала:

— Якуб, скажи, пожалуйста, каким на самом деле был мой отец?

— Почему ты спрашиваешь об этом?

— Действительно на его совести не было ничего дурного?

— Что за ерунда вдруг пришла тебе в голову? — удивился Якуб. Отец Ольги уже некоторое время назад был публично реабилитирован и объявлен невинно пострадавшим. В его невиновности никто не сомневался.

— Я так не думаю,— сказала Ольга.— Я предполагала как раз обратное.

— Не понимаю тебя,— сказал Якуб.

— Я часто думала, не совершил ли он по отношению к кому-то другому именно то, что другие совершили по отношению к нему. Те, что приговорили его к виселице, были точно такими же, как и он. У них была та же вера, они были такими же фанатиками. Они были убеждены, что любое, хоть сколько-нибудь отличное воззрение смертельно угрожает революции, и потому были подозрительны. Они послали его на смерть во имя того святого, что было свято и для него. Так почему же он не способен был поступать с другими так же, как они поступили с ним?

— Время ужасающе быстротечно, и чем отдаленнее прошлое, тем оно непонятнее,— задумчиво сказал Якуб.— Что ты знаешь о своем отце, кроме нескольких писем, нескольких страниц

его дневника, который милостиво вернули тебе, и немногих воспоминаний его друзей?

— Почему ты увиливаешь? — напирала на него Ольга.— Я задала тебе совершенно ясный вопрос. Мой отец был таким же, как и те, что послали его на смерть?

— По-видимому, да,— пожав плечами, сказал Якуб.

— Почему же тогда и он не мог допустить такие же жестокости?

— Если взглянуть на вещи теоретически,— очень медленно отвечал Якуб,— теоретически он мог поступать с другими так же, как другие поступили с ним. Нет на свете человека, который не способен был бы с относительно легкой душой послать своего ближнего на смерть. По крайней мере я ни одного такого не встретил. Если люди когда-нибудь изменятся в этом плане, то утратят свое первенствующее человеческое свойство. Это будут уже не люди, а какой-то иной вид существ.

— Вы мне чрезвычайно нравитесь! — воскликнула Ольга, как бы обращаясь к великому множеству таких, как Якуб.— В силу того, что вы всех людей почитаете убийцами, ваши собственные убийства перестают быть преступлением и становятся лишь неотъемлемым знаком люд-

ского рода.

— Большинство людей вращается в идиллическом круге между домом и работой,— сказал Якуб.— Они живут в безопасном пространстве добра и зла. Их искренне ужасает вид человека, совершающего убийство. Но достаточно вывести их из этого тишайшего пространства, и они становятся убийцами, даже не ведая как. Существуют испытания и соблазны, которые лишь изредка случаются в истории. И никто не может им противостоять. Впрочем, совершенно бесполезно говорить об этом. Какое имеет для тебя значение, что теоретически способен был сделать твой отец, если все равно это никак нельзя доказать. Тебя скорее должно занимать, что он сделал и чего не сделал. И в этом смысле у него была чистая совесть.

— Ты в этом полностью уверен?

— Полностью. Никто не знает о нем больше меня.

— Я действительно рада слышать от тебя такое,— сказала Ольга.— То, о чем я спрашиваю, пришло мне в голову не случайно. Уже долгое время я получаю анонимные письма. Мне пишут, что я не вправе изображать из себя дочь мученика, поскольку мой отец до того, как его казнили,

сам отправил в тюрьму много неповинных людей, виноватых лишь в том, что они думали о мире иначе, чем он.

— Чепуха,— сказал Якуб.

— В этих письмах его изображают яростным фанатиком и жестоким человеком. Письма пусть анонимные и злые, но не примитивные. Мысль в них выражена без преувеличения, по существу и точно, так что я почти поверила им.

— Это все та же месть,— сказал Якуб.— Расскажу тебе кое-что. Когда твоего отца посадили, тюрьмы были переполнены теми, кого загнал туда первый натиск революции. Заключенные узнали в нем известного коммунистического лидера, набросились на него при первом же удобном случае и избили до полусмерти. Надзиратели наблюдали за этим со злобной ухмылкой.

— Я знаю,— сказала Ольга, и Яков понял, что говорит ей то, о чем она уже много раз слышала. Он уже давно дал себе слово не говорить о подобных вещах, но его всякий раз прорывало. Кто пережил автоаварию, тот столь же тщетно запрещает себе вспоминать о ней.

— Я знаю,— повторила Ольга.— Но эти люди не удивляют меня. Их сажали без суда, зачастую без малейшего повода. И вдруг они воочию увидели

одного из тех, кто был повинен в их несчастье.

— В ту минуту, когда твой отец надел тюремную робу, он стал одним из них. Бессмысленно было избивать его, тем паче на глазах у надзирателей. Это было не что иное, как трусливая месть. Нет большей подлости, как топтать беззащитного. И эти письма, что ты получаешь, плод все той же мести, которая, как я вижу, сильнее времени.

— И все-таки послушай, Якуб! Их было сотни тысяч в тюрьмах! Тысячи, что никогда уже не вернулись! Но ни один виновник не был наказан! Ведь эта жажда мести всего лишь неудовлетворенная жажда справедливости!

— Мстить дочери за отца — здесь нет ничего общего со справедливостью. Только вспомни: из-за него ты лишилась дома, уехала из города, не имела права учиться. Из-за мертвого отца, которого ты толком даже не знала! И из-за него же теперь снова подвергаешься преследованиям со стороны тех, других! Поделюсь с тобой самым печальным открытием в моей жизни: те, что стали жертвами, были ничуть не лучше тех, кто принес их в жертву. Их роли представляются мне взаимозаменяемыми. Ты можешь усмотреть в этом уловку, с помощью которой человек хочет уйти от ответственности, взвалив ее на плечи

Творца, замыслившего человека таким, какой он есть. И, возможно, хорошо, что ты так думаешь. Ибо прийти к тому, что нет различия между виноватым и жертвой, значит *утратить всякую надежду. И называется это адом*, моя девочка.

5

Обеим сослуживицам не терпелось узнать, чем кончилось вчерашнее свидание Ружены. Но в этот день они дежурили в другом конце водолечебницы и, встретившись с ней лишь около трех, засыпали ее вопросами.

Ружена, немного поколебавшись, неуверенно сказала:

— Он говорил, что любит меня и что женится на мне.

— Ну вот видишь! Я же говорила тебе! — сказала худая.— А он разведется?

— Сказал, что да.

— Придется,— сказала тридцатипятилетняя весело.— Ребенок есть ребенок. А его жена бездетная.

И тут Ружену прорвало:

— Он говорил, что возьмет меня в Прагу. Устроит меня там на работу. Говорил, что поедем в Италию в отпуск. Но сейчас начинать нашу

жизнь с ребенка он не хочет, и он прав. Эти первые годы самые прекрасные, а если у нас будут дети, мы не сможем жить друг для друга.

Тридцатипятилетняя опешила:

— Ты, что же, хочешь избавиться от ребенка?

Ружена кивнула.

— Ты с ума сошла! — прикрикнула на нее худая.

— Он обвел тебя вокруг пальца,— сказала тридцатипятилетняя.— В ту минуту, когда ты освободишься от ребенка, он плюнет на тебя!

— Почему это плюнет?

— Давай поспорим! — сказала худая.

— А если он любит меня?

— Откуда ты знаешь, что он любит тебя? — сказала тридцатипятилетняя.

— Говорил так.

— А почему тогда целых два месяца не отзывался?

— Боялся любви,— сказала Ружена.

— Что, что?

— Как бы это тебе объяснить? Испугался того, что влюбился в меня.

— И потому не отзывался?

— Хотел проверить, может ли забыть меня. Неужели это трудно понять?

— Ну, ну,— продолжала тридцатипятилетняя.— И когда узнал, что обрюхатил тебя, сразу понял, что забыть тебя не в силах.

— Говорил, даже рад, что я в положении. Но не из-за ребеночка, а потому, что я дала о себе знать. Он понял, что любит меня.

— Господи, какая ты идиотка! — сказала худая.

— Почему же это я идиотка?

— Потому что ребенок — единственное, что есть у тебя,— сказала тридцатипятилетняя.— Если этого ребенка выкинешь, у тебя ничего не останется и он на тебя плюнет.

— Мне нужно, чтобы он хотел меня ради меня самой, а не ради ребенка.

— Прости меня, но что ты о себе понимаешь? Почему это ему хотеть тебя ради тебя самой?

Они еще долго возбужденно беседовали, и обе женщины не уставали повторять Ружене, что ребенок ее единственный козырь, от которого она не смеет отступаться.

— Я бы никогда не избавилась от ребенка. Это я тебе говорю. Никогда, понимаешь, никогда,— твердила худая.

И вдруг почувствовав себя маленькой девочкой, Ружена сказала (это была та самая фраза, которая вчера вернула Климе вкус к жизни):

— Тогда подскажите мне, что я должна делать!

— Отстаивать свой интерес,— сказала тридцатипятилетняя, затем, открыв ящик в своем шкафчике, вынула стеклянный тюбик с таблетками.— На, возьми! Ты ужасно взвинчена. Это успокоит тебя.

Ружена положила в рот таблетку и проглотила ее.

— Оставь тюбик у себя. Там написано три раза в день, но ты принимай, только когда тебе надо будет успокоиться. Не натвори в расстройстве какой глупости. Помни, это стреляный малый. Прошел огонь и воду! Но на этот раз ему так легко не отвертеться!

И Ружена уже опять не знала, что ей делать. Еще минуту назад ей казалось, что все решено, но доводы ее сослуживиц звучали так убедительно, что ее вновь охватили сомнения. Взбудораженная, она стала спускаться по лестнице водолечебницы.

В вестибюле к ней бросился паренек, лицо у него горело.

Она насупилась.

— Я говорила тебе, что здесь меня нельзя ждать. А после вчерашнего вообще не понимаю, как у тебя хватает нахальства.

— Прости меня, не сердись! — в отчаянии воскликнул молодой человек.

— Тссс! — осадила она его.— Будешь мне здесь еще устраивать сцены! — сказала она, торопясь уйти.

— Если не хочешь сцен, так не убегай от меня!

Что было делать? Вокруг сновали пациенты, поминутно мелькали белые халаты. Ружене не хотелось привлекать к себе внимание, и потому она остановилась и постаралась принять непринужденный вид.

— Ну что тебе? — прошептала она.

— Ничего. Я просто хотел попросить прощения. Мне правда неприятно, что я натворил. Но прошу тебя, поклянись, что у тебя с ним ничего нет.

— Я тебе уже сказала, что у меня с ним ничего нет.

— А ты поклянись.

— Не будь ребенком. Я не стану клясться из-за таких глупостей.

— Потому что у тебя с ним что-то было.

— Я тебе сказала, что нет. А если не веришь, то нам не о чем разговаривать. Это просто мой знакомый. Разве у меня нет права иметь своих знакомых? Я уважаю его. И рада, что знакома с ним.

— Я понимаю. И не упрекаю ни в чем,— говорил молодой человек.

— Завтра у него здесь концерт. Надеюсь, ты не станешь шпионить за мной.

— Если дашь мне слово, что у тебя с ним ничего нет.

— Я уже сказала тебе, что ниже моего достоинства давать честное слово из-за таких пустяков. Но если еще раз будешь шпионить за мной, то даю тебе честное слово, что больше ко мне уже никогда не придешь.

— Ружена, но если я люблю тебя,— горестно сказал молодой человек.

— Я тоже,— деловито сказала Ружена,— но из-за этого я не устраиваю тебе сцен на шоссе.

— Потому что ты не любишь меня. Ты стыдишься меня.

— Не пори чушь,— сказала Ружена.

— Я не смею нигде с тобой появиться, никуда пойти с тобой…

— Тссс! — осадила она его вновь, потому что он опять повысил голос.— Отец убил бы меня. Я же тебе сказала, как он следит за мной. Но сейчас мне правда пора, не сердись.

Молодой человек схватил ее за руку:

— Подожди минутку!

Ружена в отчаянии возвела глаза к потолку.

Молодой человек сказал:

— Если бы мы поженились, все было бы по-другому. Он бы уже ничего не посмел говорить. У нас была бы семья.

— Я не хочу иметь семью,— резко сказала Ружена.— Я бы руки на себя наложила, если бы пришлось родить ребенка.

— Почему?

— Потому. Я не желаю никакого ребенка.

— Я люблю тебя, Ружена,— снова повторил молодой человек.

А Ружена сказала:

— И поэтому хочешь довести меня до самоубийства, да!

— До самоубийства? — удивился он.

— Да! До самоубийства!

— Ружена,— сказал молодой человек.

— Доведешь меня! Это я тебе говорю! Точно доведешь меня до этого!

— Можно, я приду вечером? — покорно спросил он.

— Нет, сегодня нельзя,— сказала Ружена. А потом смекнула, что лучше успокоить его, и добавила уже мягче: — Можешь как-нибудь позвонить мне, Франта. Но после воскресенья.— И

она повернулась, чтобы уйти.

— Подожди,— сказал молодой человек.— Я тут принес кое-что. Ради прощения,— и он протянул ей сверток.

Она взяла его и быстро вышла на улицу.

6

— Доктор Шкрета и вправду чудак или он таким притворяется? — спросила Ольга Якуба.

— Я думаю об этом с тех пор, как знаю его,— ответил Якуб.

— Чудакам живется неплохо, если им удается заставить людей уважать свое чудачество,— сказала Ольга.— Доктор Шкрета чудовищно рассеян. Посреди разговора забывает о том, о чем говорил. Иной раз заболтается на улице и приходит в кабинет на два часа позже положенного. Но при этом никто не осмеливается сердиться на него, ибо пан доктор — официально признанный чудак и лишь хам мог бы отказать ему в праве на чудачество.

— Каким бы чудаком он ни был, надеюсь, он лечит тебя неплохо.

— Вроде бы так, но нам всем кажется, что врачебная практика для него дело второстепенное, то, что отвлекает его от куда более важных замыслов. Завтра, к примеру, он будет играть на

барабане.

— Постой,— остановил Ольгу Якуб.— Это действительно так?

— Похоже на то. По всему курорту расклеены афишки, что завтра здесь состоится концерт знаменитого трубача Климы, а вместе с ним будет играть на барабане пан главный врач Шкрета.

— Невообразимо,— сказал Якуб.— Вообще-то меня не удивляет, что Шкрета вздумал играть на барабане. Шкрета — самый большой мечтатель, какого я знаю. Но мне ни разу не довелось убедиться, чтобы какая-нибудь его мечта осуществилась. Познакомились мы еще в студенческие годы, и у Шкреты было мало денег. У него всегда их было мало, и он всегда мечтал их как-то заработать. Однажды у него созрел план завести суку вельш-терьера — кто-то сказал ему, что ее щенки стоят по четыре тысячи каждый. Он мгновенно подсчитал все: собака рожает дважды в год по пять щенков. Дважды пять десять, десять раз по четыре тысячи — сорок тысяч ежегодно. Он все отлично продумал. С немалым трудом нашел ход к заведующему студенческой столовой, пообещавшему ему ежедневно давать объедки. Двум сокурсницам он написал по диплому в качестве вознаграждения за их будущие прогулки с соба-

кой. Он жил в общежитии, где было запрещено держать собак, и потому каждую неделю покупал управительнице букет роз, пока наконец она не пообещала сделать для него исключение. Месяца два он готовил условия для своей собаки, но мы-то все знали, что ее никогда у него не будет. Чтобы купить ее, нужны были четыре тысячи, но никто не хотел дать ему их взаймы. Никто не относился к нему серьезно. Все считали его неисправимым мечтателем, пусть необычайно ловким и предприимчивым, но разве что в царстве грез.

— Все это очень забавно, и все-таки мне не понятна твоя странная любовь к нему. На него ведь и положиться нельзя. Он никуда не приходит вовремя, а назавтра забывает то, о чем договорился сегодня.

— Не совсем так. Когда-то он мне очень помог. Собственно, никто не помог мне в жизни так, как он.

Якуб запустил пальцы в нагрудный карман пиджака и вытащил оттуда свернутую тонкую бумажку. Развернул — в бумажке лежала голубая таблетка.

— Что это?

— Яд.

С минуту Якуб наслаждался вопросительным

молчанием девушки, затем сказал:

— Он у меня более пятнадцати лет. Пока отматывал срок в тюрьме, я кое-что понял. Человек должен быть уверен хотя бы в одном: что он хозяин своей смерти и может выбрать для нее время и способ. Если у тебя есть такая уверенность, ты способен многое выдержать. Ты всегда знаешь, что можешь спастись от них, как только выберешь такую минуту.

— Он был у тебя и в тюрьме?

— К сожалению, нет, но я достал его тотчас по возвращении.

— Но тогда он был тебе уже не нужен!

— В этой стране человек никогда не знает, когда он может ему понадобиться. И потом, это для меня дело принципа. Человек должен получить яд в день своего совершеннолетия. Он должен быть вручен ему на торжественной церемонии. Но не для того, чтобы соблазнять его самоубийством. Напротив, чтобы жить с большим спокойствием и большей уверенностью. Чтобы жить с сознанием, что он хозяин своей жизни и смерти.

— А как ты его достал?

— Шкрета на первых порах работал биологом в лаборатории. Сначала я обратился к другому человеку, но тот счел своим моральным долгом

отказать мне. Шкрета же изготовил таблетку сам, нимало не колеблясь.

— Возможно, потому, что он чудак.

— Возможно. Но главное потому, что понимал меня. Он знал, что я никакой не истерик, склонный любоваться собой в суицидных комедиях. И сегодня я хочу отдать ему эту таблетку. Больше она мне не понадобится.

— Тебе уже не грозят никакие опасности?

— Завтра утром я навсегда покидаю эту страну. Я получил приглашение в университет, и наши власти позволили мне выехать.

Наконец все было сказано. Якуб посмотрел на Ольгу — она улыбалась. Схватив его за руку, сказала:

— Правда? Великолепно! Желаю тебе всего-всего!

Ольга проявила такую же бескорыстную радость, какую проявил бы он, узнав, что она уезжает за границу, где ее ждет удача. Это удивило его, поскольку он всегда опасался, что она привязана к нему слишком сентиментальной любовью. Сейчас он радовался, что это не так, хотя и был, как ни странно, несколько уязвлен этим.

Ольгу столь сильно захватило известие Якуба, что она забыла даже о голубой таблетке, лежав-

шей перед ними в скомканной шелковистой бумажке, и Якуб стал подробно излагать ей все обстоятельства своей будущей деятельности.

— Я страшно рада, что тебе удалось это. Здесь ты уже до конца жизни личность подозрительная. Тебе даже твоей настоящей работой не разрешили заниматься. И при этом постоянно толкуют о любви к родине. Как можно любить страну, где ты лишен права работать? Скажу тебе, что не испытываю никакой любви к отечеству. Это плохо с моей стороны?

— Не знаю,— ответил Якуб.— В самом деле, не знаю. Правда лишь в том, что лично я достаточно дорожил этой страной.

— Возможно, это и плохо,— продолжала Ольга,— но я не чувствую себя чем-то обязанной ей. Что здесь может меня обязывать?

— И печальные воспоминания человека обязывают.

— К чему обязывают? Чтобы он оставался в той же стране, где родился? Не понимаю, как можно говорить о свободе, не сбросив с себя этого бремени? Ведь дерево не чувствует себя дома там, где не может расти. У дерева дом там, где для него есть влага.

— А у тебя здесь достаточно влаги?

— В общем, да. Когда мне наконец разрешили учиться, я обрела все, чего мне недоставало. Я буду заниматься своим естествознанием и ни о чем другом не хочу знать. Не я выдумала здешние условия и не я за них в ответе. Кстати, когда ты уезжаешь?

— Завтра.

— Так скоро? — Она взяла его за руку.— Пожалуйста, раз уж ты такой хороший, что приехал со мной проститься, не торопись так.

Все было иначе, чем он ожидал. Она вела себя не как девушка, тайно влюбленная в него, и не как воспитанница, питающая к нему дочерние бесплотные чувства. Она держала его за руку, нежно и многозначительно смотрела ему в глаза и повторяла:

— Не торопись! Что за радость знать, что ты приехал сюда лишь затем, чтобы сказать мне «прощай»!

Якуб слегка растерялся:

— Увидим,— сказал он.— Шкрета тоже уговаривает меня задержаться.

— Конечно, ты должен задержаться. У нас друг для друга так мало времени. Сейчас мне надо опять идти на процедуру...— Она задумалась, потом объявила, что никуда не пойдет, раз здесь

Якуб.

— Нет, нет, тебе надо идти. Нельзя пренебрегать лечением,— сказал Якуб.— Я провожу тебя.

— Правда? — спросила счастливым голосом Ольга. Затем, открыв шкаф, стала что-то искать в нем.

На столе в развернутой бумажке лежала голубая таблетка, и Ольга, единственный человек, которому он доверительно рассказал о ее существовании, стояла спиной к ней, склонившись к раскрытому шкафу. У Якуба мелькнула мысль, что эта голубая таблетка — драма его жизни, драма одинокая, почти забытая и, по всей вероятности, неинтересная. И он подумал, что уже пришла пора избавиться от этой неинтересной драмы, быстро попрощаться с ней и оставить ее в прошлом. Он снова завернул таблетку в бумажку и сунул ее в кармашек пиджака.

Ольга вытащила из шкафа сумку, положила в нее полотенце, закрыла шкаф и сказала Якубу:

— Пойдем.

7

Ружена сидела на скамейке в парке уже невесть сколько времени и не могла сдвинуться, должно быть, потому, что и мысли ее недвижно застыли

на одном месте.

Еще вчера она верила в то, что говорил ей трубач. Верила не только потому, что это было приятно, но и потому, что так было проще: она со спокойной совестью могла отказаться от дальнейшей борьбы, на которую не находила сил. Но когда сослуживицы высмеяли ее, она опять перестала ему верить и думала о нем с ненавистью, ибо в глубине души опасалась, что у нее нет достаточно хитрости и упорства, чтобы завладеть им.

Она без малейшего интереса надорвала бумагу свертка, который дал ей Франтишек. В нем была голубая материя, и Ружена поняла, что получила в подарок ночную рубашку; ночную рубашку, в которой он хотел бы каждый день ее видеть; каждый день, и много дней, и все дни ее жизни. Она смотрела на голубую материю, и ей казалось, что голубое пятно расплывается, расширяется, превращается в трясину, в трясину доброты и преданности, в трясину рабской любви, которая в конце концов поглотит ее.

Кого она ненавидела больше? Того, кто отвергал ее, или того, кто ее домогался?

Так она сидела, словно пригвожденная к скамейке двойной ненавистью, и даже не осо-

знавала, что происходит вокруг. У тротуара остановился маленький автобус, а за ним крытый зеленый фургон, из которого до слуха Ружены доносились завывание и лай собак. Дверь автобуса отворилась, и вышел пожилой мужчина с красной повязкой на рукаве. Ружена смотрела тупо, не соображая даже, на что она смотрит.

Мужчина прокричал внутрь автобуса какую-то команду, и из двери вышел еще один старик, на рукаве которого была такая же красная повязка, а в руке длинный трехметровый шест с проволочной петлей на конце. Следом за ним выпрыгнули и другие мужчины и выстроились в ряд перед автобусом. Все это были пожилые люди, на рукавах у всех были красные повязки, и все они держали в руках длинные шесты с проволочной петлей на конце.

Мужчина, который выпрыгнул из машины первым, был без шеста, он отдавал команды, а пожилые господа, точно дружина странных копьеносцев, всякий раз вытягивались по стойке «смирно». Затем мужчина выкрикнул еще одну команду, и отряд стариков бросился в парк. Там они разбежались в разные стороны: кто по дороге, а кто прямиком по газонам. В парке прогуливались курортники, бегали дети, но сейчас

все замерли на месте и с удивлением глядели на стариков, кинувшихся в атаку с занесенными шестами.

Ружена также очнулась от сковывавших ее мыслей и стала наблюдать за тем, что происходит. В одном из стариков она узнала отца и смотрела на него с неудовольствием, хотя и без удивления.

У березы посреди газона носилась дворняжка. Один из стариков бросился к ней, и она, остановившись, недоуменно уставилась на него. Старик вытянул вперед шест, пытаясь накинуть на ее голову проволочную петлю. Но шест был длинным, старческие руки слабыми, и ему никак не удавалось поймать собаку. Проволочная петля неуверенно качалась над головой дворняжки, и та с любопытством следила за ней.

На помощь старику с другой стороны подбежал еще один, у которого руки были сильнее, и дворняжка в конце концов оказалась в проволочном ошейнике. Старик дернул шестом, проволока впилась в мохнатую шею, и собака завыла. Оба пенсионера рассмеялись и потащили ее по газону к припаркованным машинам. Открыв большую дверь фургона, из которого вырвалась мощная волна собачьего лая, старики забросили туда

дворняжку.

Ружена воспринимала все, что видела, лишь как часть собственной истории — она была несчастной женщиной меж двух миров: мир Климы отвергал ее, а мир Франтишека, из которого она пыталась бежать (мир банальности и скуки, мир неудач и капитуляций), пришел за ней в виде этого отряда захватчиков, словно они хотели уволочь ее одной из таких проволочных петель.

На песчаной дорожке стоял мальчик лет одиннадцати и отчаянно звал свою собачку, забредшую в кустарник. Однако вместо собаки к мальчику подбежал с шестом отец Ружены. Мальчик мгновенно умолк. Он уже боялся позвать собаку, понимая, что старик с шестом поймает ее. Мальчик побежал по дорожке дальше, чтобы спастись от старика, но тот бросился следом. Сейчас они бежали рядком. Руженин отец с шестом и мальчик, всхлипывавший на бегу. Потом мальчик повернул и побежал вспять. Отец Ружены тоже повернул. И они снова побежали рядком.

Затем из кустарника вынырнула такса. Отец Ружены протянул к ней шест, но песик увернулся и бросился к мальчику. Он поднял его и прижал к груди. Но на помощь отцу Ружены прибежали другие старики и вырвали таксу из объятий

мальчика. Мальчик плакал, кричал, отбивался от стариков, но они скрутили ему руки и зажали рот, так как его крики привлекали внимание прохожих — те оглядывались, но боялись вмешаться.

Ружене уже наскучило смотреть на отца и его сотоварищей. Но куда идти? Дома лежал недочитанный детектив, который не захватывал ее, в кино показывали фильм, который она видела, а в холле Ричмонда всегда был включен телевизор. Она предпочла телевизор. Встала со скамейки и под гиканье стариков, все еще долетавшее до нее отовсюду, снова остро осознала содержимое своей утробы, и оно показалось ей священным. Оно изменяло и возвышало ее. Отделяло от тех безумцев, что гонялись за собаками. Мелькнула неясная мысль о том, что она не должна сдаваться, не должна капитулировать, потому что носит в животе свою единственную надежду, свой единственный билет в будущее.

Дойдя до конца парка, она заметила Якуба. Он стоял на тротуаре перед Ричмондом и наблюдал за сценой в парке. Она видела его один раз, сегодня за обедом, но забыла о нем. Пациентка, на время ставшая ее соседкой и стучавшая ей в стену всякий раз, когда она чуть громче включала радио, была ей ужасно несимпатична, и Ружена

с явной неприязнью воспринимала все, что было связано с ней.

Лицо этого человека ей не нравилось. Оно казалось ироничным, а Ружена иронию ненавидела. Ей всегда казалось, что ирония (любая ирония), точно вооруженный страж, стоит в воротах ее будущего, испытующе оглядывает ее и отрицательно качает головой. Она выпрямилась и прошла мимо Якуба, стараясь уязвить его дерзостью своей груди и гордостью своего живота. И этот человек вдруг сказал (она наблюдала за ним лишь краешком глаза) ласковым, спокойным голосом:

— Поди сюда… ну поди ко мне…

В первую минуту она не поняла, почему он зовет ее. Смутила ласковость в его голосе, и она не знала, как ему ответить. Но, оглянувшись, увидела, что за ней идет толстый боксер с человечьей уродливой мордой.

Голос Якуба приманил собаку. Якуб взял ее за ошейник:

— Пойдем со мной, не то тебе несдобровать.

Пес поднял к Якубу доверчивую морду — из пасти высовывался язык, трепеща как веселый флажок.

Это была минута унижения, смешного, ничтож-

ного и все-таки явственного: он не заметил ни ее дерзости, ни ее гордости. Она думала, что он обращается к ней, а он обращался к собаке. Ружена прошла мимо него и остановилась на лестнице у входа в Ричмонд.

К Якубу из парка ринулись два старика с шестами. Она смотрела на это со злорадством и, сама того не сознавая, приняла сторону стариков.

Якуб повел собаку за ошейник к входу в здание, а старик кричал:

— Немедленно отпустите собаку!

И второй старик:

— Именем закона!

Не обращая внимания на стариков, Якуб продолжал идти, но один шест сзади скользнул вдоль его тела, и над головой боксера неуверенно закачалась проволочная петля. Якуб схватил конец шеста и отбросил его в сторону.

Тут же подбежал третий старик и крикнул:

— Это нарушение официального указа! Я вызову полицию!

А второй старик высоким голосом вопил:

— Он бегал по парку! Он бегал по детской площадке! Беззаконие! Он ссал детям на песок! Кто вам дороже: дети или собаки?

Ружена наблюдала всю эту сцену с высоты

лестницы, и гордость, которую она минуту назад ощущала только в своем животе, разливалась сейчас по всему телу и наполняла ее строптивой силой. Якуб с собакой поднимался к ней по лестнице, и она сказала:

— Собакам сюда вход запрещен!

Якуб ответил ей мирным тоном, но она уже не могла пойти на попятную. Расставив ноги, она загородила собой широкую дверь Ричмонда и повторила:

— Этот дом для пациентов, а не для собак! Собакам сюда вход запрещен!

— А не хотите ли вы, барышня, взять в руки шест с петлей? — сказал Якуб, протискиваясь с боксером в дверь.

Ружена почуяла во фразе Якуба ненавистную иронию, загонявшую ее назад туда, откуда она вышла, туда, где не хочет быть. Злоба затуманила ей зрение. Она схватила собаку за ошейник, теперь они держали ее оба. Якуб тянул ее внутрь здания, а она не пускала. Якуб взял руку Ружены за запястье и отбросил ее с ошейника так резко, что девушка пошатнулась.

— Вы предпочли бы возить в колясках собак вместо детей! — крикнула она ему вслед.

Якуб оглянулся — их взгляды схлестнулись,

полные внезапной и обнаженной ненависти.

8

Боксер с любопытством похаживал по комнате, ничуть не подозревая, какой избежал опасности. Якуб лег на диван и стал думать, как быть с ним. Пес нравился ему, был добрым и веселым. Беззаботность, с какой он в течение нескольких минут освоился в чужой комнате и подружился с чужим человеком, была даже сомнительной и граничила с глупостью. Обнюхав все углы комнаты, боксер вскочил к Якубу на диван и улегся рядом. Якуб удивился такому проявлению дружбы, но принял его беспрекословно. Он положил руку собаке на спину и стал наслаждаться теплом звериного тела. Он всегда любил собак. Они были близкими, привязчивыми, преданными и при этом совершенно непонятными. Человек никогда не узнает, что по сути творится в голове и в сердце этих доверчивых и веселых посланцев чужой и непостижимой для него природы.

Он потрепал пса по спине и вспомнил сцену, свидетелем которой был минуту назад. Старики с длинными шестами сливались в его сознании с тюремными надзирателями, следователями и доносчиками, приглядывающими за тем, не

заводит ли сосед в магазине политические разговоры. Что толкало людей к их прискорбной деятельности? Злоба? Бесспорно, но и жажда порядка. Ибо жажда порядка — это желание превратить человеческий мир в мир неорганический, где все налажено, все действует, подчиняясь надличностному уставу. Жажда порядка есть одновременно и жажда смерти, ибо жизнь — извечное нарушение порядка. Или можно сказать иначе: жажда порядка являет собой добродетельный предлог, с помощью которого ненависть к людям прощает себе свои бесчинства.

Затем он вспомнил светловолосую девушку, не желавшую пропустить его с собакой в Ричмонд, и почувствовал к ней болезненную неприязнь. Старики с шестами не вызывали в нем отвращения, тех он хорошо знал, тех учитывал, никогда не сомневаясь в том, что они существуют и должны существовать и что всегда будут его преследовать. Но эта девушка… вот где был источник его вечного поражения. Красивая, она появилась на сцене отнюдь не в виде преследователя, а как зритель, полностью поглощенный зрелищем и отождествившийся с теми, кто преследует. Якуб всегда приходил в ужас от того, что такие зрители безоглядно готовы придержать для па-

лача жертву. Ибо палач с течением времени стал по-соседски близкой фигурой, тогда как от преследуемого попахивает чем-то аристократическим. Душа толпы, которая когда-то, возможно, отождествлялась с преследуемыми убогими, теперь отождествляется с убогостью преследователей. Ибо охота на человека в нашем веке стала охотой на привилегированных: на тех, кто читает книги или имеет собаку.

Он чувствовал под рукой теплое собачье тело и говорил себе, что эта светловолосая девушка явилась затем, чтобы таинственным намеком оповестить его, что в этой стране он никогда не будет любим и что она, посланец народа, всегда с готовностью придержит его для тех, кто станет протягивать к нему шест с проволочной петлей. Он обнял пса и привлек к себе. Мелькнула мысль, что он не может бросить его здесь на произвол судьбы, что должен увезти его из этой страны, как память о преследованиях, как одного из тех, кто уцелел. И он представил, что прячет здесь у себя этого веселого песика, словно гонимого, убегающего от полиции человека; это рассмешило его.

Раздался стук в дверь, и в комнату вошел Шкрета:

— Наконец-то ты дома. Ищу тебя целый день.

Где ты бродишь?

— Я был с Ольгой, а потом...— Он хотел было рассказать ему историю с собакой, но Шкрета прервал его:

— Я это и предполагал. Так тратить время, когда надо обсудить столько вещей. Я уже сказал Бертлефу, что ты здесь, и попросил его пригласить нас к себе.

В эту минуту пес спрыгнул с дивана, подошел к доктору, встал на задние лапы, а передние положил ему на грудь. Шкрета потрепал пса по шее и, как бы ничему не удивляясь, сказал:

— Ну ладно, Бобеш, ладно, ты хороший...

— Его зовут Бобеш?

— Да, Бобеш,— подтвердил Шкрета и объяснил, что пес принадлежит владельцам лесного трактира неподалеку от курорта; пса тут знает каждый, он частенько сюда захаживает.

Пес понял, что речь идет о нем, и обрадовался. Виляя хвостом, он норовил лизнуть Шкрету в лицо.

Доктор Шкрета сказал:

— Ты отличный психолог. Сегодня ты должен как следует прощупать его. А то я не знаю, как и подступиться к нему. У меня на него большие виды.

— В смысле этих иконок?

— Иконки — ерунда,— сказал Шкрета.— Речь идет о более важных делах. Хочу, чтобы он усыновил меня.

— Усыновил?

— Вот именно. Для меня это дело жизни. Если стану его сыном, автоматически получу американское гражданство.

— Ты хочешь эмигрировать?

— Нет. Я провожу здесь серьезные опыты и не хочу их прерывать. Об этом тоже собираюсь сегодня потолковать с тобой, потому что для них ты мне понадобишься. Но с американским паспортом я смогу свободно передвигаться по всему миру. Иначе простому человеку отсюда никуда не выбраться. А я мечтаю побывать в Исландии.

— Почему именно в Исландии?

— Нигде лучше не ловятся лососи,— сказал Шкрета и продолжал: — Сложность заключается лишь в том, что Бертлеф не настолько старше меня, чтобы быть моим отцом. Придется объяснить ему, что юридический статус приемного отца — нечто совершенно иное, чем статус отца настоящего, и что теоретически он мог бы меня усыновить, даже будь он моложе меня. Он, пожалуй, поймет меня, но у него очень молодая жена.

Моя пациентка. Послезавтра она приезжает сюда. Я послал Зузи в столицу, чтобы встретить ее в аэропорту.

— Зузи знает о твоем плане?

— Конечно. Я попросил ее любой ценой расположить к себе свою будущую свекровь.

— А как американец относится к этому? Что он говорит?

— В том-то и вся загвоздка. Этот малый ни до чего не может додуматься сам. Поэтому мне нужно, чтобы ты прощупал его и посоветовал, как мне к нему подкатиться.

Шкрета, взглянув на часы, заявил, что Бертлеф уже ждет их.

— А как быть с Бобешом?

— Но как получилось, что он у тебя?

Якуб рассказал приятелю, как спас собаке жизнь, но тот был погружен в свои мысли и слушал его вполуха. Когда Якуб кончил, Шкрета сказал:

— Пани трактирщица — моя пациентка. Два года назад она родила прекрасного ребятенка. Бобеша они очень любят, и тебе придется завтра отвести его к ним. А пока дадим ему снотворное, чтобы он не докучал нам.

Он вытащил из кармана тюбик с таблетками.

Притянул к себе пса, открыл ему пасть и вбросил таблетку в горло.

— Через минуту он сладко уснет,— сказал Шкрета и вышел с Якубом из комнаты.

9

Бертлеф приветствовал обоих гостей. Якуб, оглядев помещение, подошел к картине, на которой был изображен бородатый святой.

— Я слышал, что вы рисуете,— сказал он Бертлефу.

— Да,— ответил Бертлеф.— Это святой Лазарь, мой патрон.

— Почему вы сделали сияние голубым? — удивился Якуб.

— Мне приятно, что вы об этом спрашиваете. Люди обычно смотрят на картину и совершенно не вникают в то, что видят. Сияние я сделал голубым, потому что оно на самом деле голубое.

Якуб вновь удивился, а Бертлеф продолжал:

— Люди, привязанные к Богу особенно сильной любовью, вознаграждены святой радостью, которая разливается по их душам и исходит из них наружу. Свет этой божественной радости спокойный и тихий и имеет цвет небесной лазури.

— Постойте,— прервал его Якуб,— вы полага-

ете, что сияние — нечто большее, чем только изобразительный символ?

— Несомненно,— сказал Бертлеф.— Однако не стоит представлять себе, что головы святых источают его непрерывно и что святые ходят по свету, как марширующие фонари. Ничуть не бывало. Лишь в определенные минуты большой внутренней радости из них изливается голубоватое сияние. В первые века после смерти Иисуса, когда было много святых и много тех, кто знал их близко, в цвете сияния никто не сомневался — на всех картинах и фресках того времени вы увидите его голубым. Лишь с пятого столетия художники начинают изображать его другими цветами, скажем, оранжевым или желтым. В период готики оно уже исключительно золотое. Это было более декоративно и лучше выражало мирскую мощь и славу церкви. Но настоящее сияние походило на это ничуть не больше, чем тогдашняя церковь на первоначальное христианство.

— Я этого не знал,— сказал Якуб. Бертлеф, подойдя тем временем к шкафчику с алкогольными напитками, стал обсуждать с гостями, какой бутылке отдать предпочтение. Наливая затем в три рюмки коньяку, он обратился к доктору Шкрете:

— Надеюсь, вы не забудете о том незадачливом

отце. Для меня это очень важно.

Шкрета заверил Бертлефа, что все благополучно кончится, и Якуб спросил, о чем речь. Получив объяснение (надо оценить благородный такт обоих мужчин: даже Якубу они не назвали имени отца), он проявил к незнакомцу, зачавшему ребенка, большое сочувствие:

— Кто из нас не пережил подобных мук! Это одно из великих испытаний. Тех, кто не выстоит в нем и станет отцом вопреки своей воле, ждет пожизненный крах. Впоследствии они становятся злобными, как все проигравшие люди, и желают такой же участи всем остальным.

— Друг мой! — воскликнул Бертлеф.— И это вы говорите счастливому отцу! Если вы задержитесь здесь еще дня на два, на три, вы увидите моего прекрасного сына и откажетесь от того, что вы только что сказали.

— Не откажусь,— возразил Якуб,— ибо вы стали отцом не вопреки своей воле!

— Слава Всевышнему, нет. Я отец по воле своей и по воле доктора Шкреты.

Доктор Шкрета удовлетворенно подтвердил его слова и заметил, что у него иной взгляд на отцовство, чем у Якуба, о чем, кстати, свидетельствует и беременность его дорогой Зузи.

— Единственное,— добавил он,— что вселяет в меня некоторый скепсис в отношении деторождения, так это неразумный выбор родителей. Уму непостижимо, как это уроды отваживаются размножаться. Они, верно, думают, что бремя уродства станет легче, если им поделиться с потомством.

Бертлеф назвал точку зрения Шкреты эстетическим расизмом:

— Нельзя забывать, что не только Сократ был уродом, но и многие знаменитые любовницы не отличались телесным совершенством. Эстетический расизм едва ли не всегда является проявлением неопытности. Те, что не слишком глубоко проникли в мир любовных радостей, могут судить о женщинах лишь по внешнему виду. Но те, что по-настоящему познали их, понимают, что глаза способны приоткрыть лишь малую толику того, чем женщина может одарить нас. Когда Бог призвал человечество любить и размножаться, он принимал во внимание, пан доктор, и уродливых, и красивых. Впрочем, я убежден, что эстетический критерий от дьявола, а не от Бога. В раю уродство и красота не различались.

Затем в дискуссию вмешался Якуб и сказал, что в его нежелании размножаться эстетические

доводы не играют никакой роли:

— Я мог бы привести с десяток доводов, почему не следует становиться отцом.

— Говорите, мне любопытно,— сказал Бертлеф.

— Прежде всего я не люблю материнства,— сказал Якуб и задумался.— Нынешний век разоблачил все мифы. Детство давно уже не являет собой пору невинности. Фрейд обнаружил сексуальность у младенцев и поведал нам все об Эдипе. Одна Иокаста по-прежнему окутана тайной, и никто не решается сорвать с нее этот покров. Материнство — последнее и наибольшее табу, но в нем скрывается и наибольшее проклятие. Нет сильнее привязанности, нежели привязанность матери к ребенку. Но эта привязанность навсегда калечит душу ребенка и с взрослением сына уготавливает матери самую жестокую любовную муку, какая существует. Я утверждаю, что материнство — проклятие, и не хочу его множить.

— Далее,— сказал Бертлеф.

— Есть еще и другие причины, по которым я не хочу умножать число матерей,— сказал Якуб в некотором смущении.— Я люблю женское тело и испытываю отвращение, представляя себе, как любимая грудь превращается в мешок для молока.

— Далее,— сказал Бертлеф.

— Пан доктор, несомненно, подтвердит нам, что к женщинам, лежащим в клинике после аборта, врачи и сестры относятся значительно хуже, чем к роженицам, и не скрывают от них некоторого презрения, хотя и сами, по крайней мере раз в жизни, не обходятся без подобной операции. Однако это в них сильнее любых рассуждений, ибо культ размножения продиктован самой природой. Поэтому не ищите в призывах к увеличению популяции разумных аргументов. Вы полагаете, что в церковной морали, благословляющей размножение, слышится глас Христа или что посредством коммунистической пропаганды деторождения с вами разговаривает Маркс? Из-за стремления к сохранению рода человечество вскоре задохнется на своей маленькой планете. Но призывы к увеличению популяции раздаются по-прежнему, и публика умильно льет слезы при виде кормящей матери или ухмыляющегося младенца. У меня это вызывает отвращение. Стоит представить себя склоненным с тупой улыбкой над коляской, подобно миллионам прочих энтузиастов, мороз по коже подирает.

— Далее,— сказал Бертлеф.

— И, конечно, нельзя не думать и о том, в какой

мир ты посылаешь ребенка. В скором времени его отберет у меня школа и станет вбивать ему в голову всяческие бредни, против которых я сам тщетно боролся всю жизнь. Прикажете мне смотреть, как из моего отпрыска вырастает болван-конформист? Или привить ему свой образ мыслей и затем смотреть, как он несчастен, ибо вовлечен в те же конфликты, что и я?

— Далее,— сказал Бертлеф.

— И, конечно, нельзя не думать и о себе. В этой стране дети наказуемы за непослушание родителей, а родители — за непослушание детей. Сколько молодых людей были выброшены из школ потому, что их родители попали в немилость! А сколько родителей смирились со своей трусостью до конца дней, лишь бы не навредить детям! Кто здесь хочет сохранить хотя бы частицу свободы, не должен иметь детей,— сказал Якуб и замолчал.

— Вам остается привести еще пять доводов, чтобы завершить ваши десять заповедей,— сказал Бертлеф.

— Последний довод настолько значителен, что он стоит всех пяти,— сказал Якуб.— Родить ребенка — значит выразить свое абсолютное согласие с человеком. Если у меня появился ребенок, то

тем самым я как бы сказал: я родился, познал жизнь и убедился, что она настолько хороша, что заслуживает повторения.

— А для вас жизнь не была хороша? — спросил Бертлеф.

Якуб, стремясь быть точным, осторожно ответил:

— Знаю лишь, что я никогда не мог бы с полной убежденностью сказать: человек — замечательное творение, и его следует умножать.

— Это оттого, что ты познал жизнь лишь с одной, причем наихудшей, стороны,— сказал доктор Шкрета.— Ты никогда не умел жить. Ты всегда считал, что твой долг быть, как говорится, у первоисточника, в самом эпицентре событий. А что представляли собой эти твои события? Политику. Но политика — это наименее существенная и наименее ценная сторона жизни. Политика — это грязная пена на реке, тогда как настоящая жизнь реки разыгрывается гораздо глубже. Детородные способности женщины изучаются тысячелетиями. Это надежная и солидная история. И ей совершенно плевать, какое нынче правительство у кормила. Я, натягивающий резиновую перчатку и исследующий нутро женщины, куда больше в эпицентре жизни, чем ты,

чуть было не лишившийся ее в своих постоянных заботах о благе народа.

Вместо того, чтобы защищаться, Якуб согласился с упреками друга, и поощренный таким образом доктор Шкрета продолжал:

— Архимед своими кругами, Микеланджело куском камня, Пастер своими опытами — единственно они изменяли жизнь людей и творили подлинную историю, тогда как политики...— Шкрета, помолчав, презрительно махнул рукой.

— Что «тогда как политики»? — спросил Якуб и затем возразил: — А я вот что скажу тебе. Если наука и искусство — действительно подлинная арена истории, то политика, по сути, закрытая научная лаборатория, где производятся невиданные эксперименты над человеком. Подопытных людишек сбрасывают там в трюмы, затем вновь извлекают на сцену, прельщая их аплодисментами и устрашая петлей, предавая и принуждая к предательству. В этой лаборатории я работал лаборантом, но не раз бывал в ней и жертвой вивисекции. Бесспорно, я не создал никаких ценностей (равно как и никто из тех, кто работал там со мной), но я узнал лучше других, что такое человек.

— Я понимаю вас,— сказал Бертлеф,— и знаю

эту лабораторию, хотя сам никогда не был в ней лаборантом, а всегда был лишь морской свинкой. Война настигла меня в Германии. Женщина, которую я любил, выдала меня гестапо. К ней пришли и показали мою фотографию, на которой я был в объятиях другой женщины. Ее это ранило, а как вам известно, любовь нередко обретает форму ненависти. Я отправился в тюрьму с таким чувством, что меня туда привела любовь. Разве это не прекрасно — очутиться в лапах гестапо и сознавать, что это, по сути, привилегия человека, которого слишком сильно любят?

Якуб ответил:

— Что меня особенно отвращало в человеке, так это то, как его жестокость, низость и ограниченность умеют напяливать на себя лирическую маску. Она послала вас на смерть, воспринимая это как трепетное проявление раненой любви. А вы шли на виселицу ради ограниченной бабенки, исполненный сознания, что играете роль в трагедии, написанной для вас Шекспиром.

— После войны она со слезами пришла ко мне,— продолжал Бертлеф, словно не слыша замечания Якуба.— Я сказал ей: «Тебе нечего бояться. Бертлеф никогда не мстит».

— Видите ли,— сказал Якуб,— я часто думаю

о царе Ироде. Вы знаете эту историю. Он якобы узнал, что родился будущий иудейский царь, и из страха лишиться трона приказал истребить всех младенцев. Я представляю себе Ирода иначе, хотя знаю, что это лишь игра воображения. По моему мнению, Ирод был образованный, умный и очень благородный царь, проработавший долго в лаборатории политики и понявший, что такое жизнь и что такое человек. Ирод понял, что человека не следовало создавать. Кстати, его сомнения не были уж так неуместны и грешны. Если я не ошибаюсь, Господь тоже усомнился в человеке и увлекся мыслью перечеркнуть свое творение.

— Да,— подтвердил Бертлеф,— об этом сказано в шестой главе «Бытия»: «Истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил… ибо Я раскаялся, что создал их».

— Но, возможно, это была лишь минута слабости Господа, ибо в конце концов он позволил Ною сохранить себя в своем ковчеге и начать историю человечества сызнова. Можем ли мы быть уверены, что Бог никогда не сожалел о своей слабости? Но сожалел он или не сожалел, делать было нечего. Бог не может ставить себя в смешное положение, постоянно меняя свои решения. А что если это был именно Он, кто вложил свою мысль

в голову Ирода? Можем ли мы исключить это?

Бертлеф, пожав плечами, ничего не ответил.

— Ирод был царь. Он отвечал не только за себя. Он не мог сказать себе, как я: пусть другие поступают, как хотят, я же размножаться не буду. Ирод был царь и знал, что обязан решать не только за себя, но и за других, и он принял решение за весь род людской: человек плодиться не будет. И так началось избиение младенцев. Случилось это не по столь низкому поводу, какой приписывает ему традиция. Иродом двигало самое что ни на есть благородное стремление: высвободить наконец мир из когтей человека.

— Ваше толкование Ирода мне вполне нравится,— сказал Бертлеф.— Нравится настолько, что отныне я буду представлять себе избиение младенцев так же, как вы. Но не забывайте, что именно в то время, когда Ирод решил, что человечество должно прекратить свое существование, в Вифлееме родился мальчик, который избежал его ножа. И этот мальчик вырос и сказал людям, что существует лишь одно-единственное, ради чего стоит жить: любить друг друга. Возможно, Ирод был более образован и опытен. Иисус, по существу, был юноша и многого о жизни не знал. Возможно, все его учение объясняется лишь его

молодостью и неопытностью. Если хотите, его наивностью. И все-таки за ним была правда.

— Правда? Кто доказал эту правду? — воинственно откликнулся Якуб.

— Никто,— сказал Бертлеф.— Ее никто не доказал и не докажет. Иисус так любил своего Отца, что не мог допустить, будто Его творение было неудачным. Иисуса к этому вела любовь, а вовсе не рассудок. Поэтому спор между ним и Иродом может разрешить только наше сердце. Стоит ли быть человеком или нет? В пользу этого у меня нет доказательств, но я верю Иисусу, что стоит.— Тут он с улыбкой кивнул в сторону Шкреты.— Поэтому я и послал сюда свою жену полечиться у доктора Шкреты, который в моих глазах один из святых учеников Иисусовых, ибо он творит чудеса и пробуждает к жизни дремлющие чрева женщин. Пью его здоровье!

10

Якуб всегда относился к Ольге с отцовской серьезностью, и в шутку любил называть себя «стариком». Но она знала, что у него немало женщин, к которым он относится иначе, и завидовала им. А сегодня впервые у нее мелькнула мысль, что в Якубе и вправду есть что-то от старика. От

его отношения к ней веяло какой-то затхлостью — молодежь чутко улавливает этот исходящий от старшего поколения запах.

Старые люди отличаются тем, что любят похвастаться былыми страданиями, превращая их в экспонаты музея, куда приглашают посетителей (ах, эти печальные музеи так редко посещаются!). Ольга поняла, что она главный живой экспонат музея Якуба и его бескорыстно-благородное отношение к ней рассчитано на то, чтобы доводить до слез посетителей.

Сегодня она познакомилась и с самым драгоценным неживым экспонатом музея: с голубой таблеткой. Когда он сегодня разворачивал ее перед ней, она, к своему удивлению, не почувствовала никакой растроганности. Хотя она и понимала, что в тяжкие минуты жизни Якуб думал о самоубийстве, пафос, с которым он сообщал об этом, показался ей смешным. Смешной показалась и осторожность, с какой он разворачивал таблетку из шелковистой бумаги, словно это был драгоценный алмаз. Не понимала она и того, почему он хочет вернуть яд доктору Шкрете в день своего отъезда и вместе с тем провозглашает, что каждый взрослый человек должен быть хозяином своей смерти при любых обстоятельствах.

Будто за границей Якуб не может заболеть раком и в не меньшей мере нуждаться в яде! Однако для Якуба таблетка была не простым ядом, а символическим реквизитом, который сейчас в каком-то сакральном ритуале он должен отдать жрецу. Это было смешно.

Возвращаясь с водных процедур, она шла в сторону Ричмонда. Несмотря на все эти ехидные мысли, она радовалась приезду Якуба. У нее было страстное желание осквернить музей Якуба и вести себя в нем не как экспонат, а как женщина. Поэтому она была несколько разочарована, найдя на двери записку, предлагавшую ей зайти за ним в соседнюю комнату, где он ждет ее с Бертлефом и Шкретой. Присутствие посторонних людей лишало ее смелости уже хотя бы потому, что Бертлефа она не знала, а доктор Шкрета обычно относился к ней с любезным, но очевидным небрежением.

Бертлеф, однако, быстро избавил ее от робости: представившись ей с низким поклоном, он выбранил доктора Шкрету за то, что тот до сих пор не изволил познакомить его со столь интересной женщиной.

Шкрета ответил, что опекать девушку поручил ему Якуб и что он умышленно не представил ее Бертлефу, зная, что ни одна женщина не способна

устоять перед ним.

Бертлеф принял это оправдание с веселым довольством. Затем поднял трубку и заказал в ресторане ужин.

— Уму непостижимо,— сказал доктор Шкрета,— как в этом захолустье, где ни в одном трактире не получишь приличного ужина, нашему другу удается жить с таким комфортом.

Бертлеф запустил руку в открытую сигарочницу, стоявшую возле телефона и наполненную серебряными пятидесятицентовыми монетами.

— Человек не должен скупиться...— улыбнулся он.

Якуб заметил, что впервые видит человека, столь вдохновенно верящего в Бога и умеющего при этом жить в такой роскоши.

— Вероятно, это потому, что вы никогда не видели истинного христианина. Слово «Евангелие», как вам известно, означает радостную весть. Радоваться жизни — важнейший завет Христа.

Ольге показалось, что настала минута вмешаться в разговор:

— Если положиться на то, что нам говорили учителя, то христиане видели в земной жизни лишь юдоль скорби и надеялись, что настоящая жизнь наступит только после смерти.

— Милая барышня,— сказал Бертлеф,— не верьте учителям.

— А все святые,— не сдавалась Ольга,— только и занимались тем, что отрекались от жизни. Вместо того, чтобы любить, они истязали себя, вместо того, чтобы подобно нам беседовать, они уходили в пустыни, а вместо того, чтобы по телефону заказывать ужин, жевали корешки.

— Вы совсем не понимаете святых, барышня. Это были люди, бесконечно привязанные к наслаждениям жизни, но достигавшие их иными путями. Как вы думаете, что является высшим наслаждением для человека? Вы можете предполагать что угодно, но все равно не дойдете до истины, ибо вы не достаточно искренни. Это не упрек, ибо для искренности необходимо самопознание, а для самопознания — время. Но может ли быть искренной девушка, которая так излучает молодость, как вы? Она не может быть искренной, поскольку не познала себя самое. Но если бы познала себя, она должна была бы согласиться со мной, что наивысшее наслаждение для человека — это быть предметом восхищения. Вы так не думаете?

Ольга ответила, что знает лучшие наслаждения.

— Нет, едва ли,— сказал Бертлеф.— Возьмите, например, вашего бегуна, которого знает здесь каждый ребенок, того, что выиграл три олимпиады подряд. Вы считаете, он отрекался от жизни? А ведь он, несомненно, вместо бесед, любви и пиршеств должен был без устали бегать вокруг спортивной площадки. Его тренировки были очень похожи на то, чем занимались наши великие святые. Святой Макарий Александрийский, когда жил в пустыне, систематически наполнял корзину песком, взваливал ее на спину и затем долгими днями ходил с ней по бескрайним просторам до полного изнеможения. Но, вероятно, для вашего бегуна, как и для Макария Александрийского, существовало какое-то величайшее вознаграждение, которое намного превышало всяческую надсаду. Представляете ли вы, что такое слышать овации огромного олимпийского амфитеатра? Нет большей радости! Святой Макарий прекрасно знал, почему он носит на спине корзину с песком. Слава о его рекордных путях-дорогах по пустыне вскоре облетела весь христианский мир. А святой Макарий был сродни вашему бегуну. Этот тоже сперва одержал победу в забеге на пять тысяч метров, потом на десять тысяч, а уж когда дальше дело не пошло,

поставил рекорд в марафоне. Жажда всеобщего восхищения неутолима. Святой Макарий неузнанным явился в Табеннскую обитель и попросил принять его в члены общины. Когда пришло время сорокадневного поста, настал его звездный час. Если все постились сидя, он все сорок дней простоял! Это был триумф, какой вам и не снится! А вспомните святого Симеона Столпника! Он выстроил в пустыне столп, на котором была маленькая площадочка. На ней нельзя было сидеть — только стоять. И он стоял там всю жизнь, и весь христианский мир восхищался этим невероятным рекордом, которым человек как бы перешагивает границы человеческих возможностей. Святой Симеон Столпник — это Гагарин третьего столетия. Можете ли вы представить себе блаженство, переполнившее Геновефу Парижскую, когда она услышала от галльских купцов, что святой Симеон Столпник знает о ней и благословляет ее со своего столпа? А почему, думаете, он стремился поставить рекорд? Уж не потому ли, что жизнь и люди для него ничего не значили? Не будьте наивной! Отцы церкви очень хорошо знали, что святой Симеон Столпник честолюбец, и подвергли его испытанию. От имени духовных властей приказали ему

слезть со столпа и перестать состязаться. Это был удар для святого Симеона Столпника! Но он был настолько мудр или хитер, что послушался. Отцы церкви не возражали против его рекордов, они хотели лишь удостовериться, что его тщеславие не превышает его послушания. И увидев, с какой печалью он слезает со столпа, тотчас повелели ему вернуться наверх, так что святой Симеон получил право умереть на своем столпе под сенью всеобщей любви и восхищения.

Ольга внимательно слушала, а при последних словах рассмеялась.

— Эта невероятная жажда всеобщего восхищения вовсе не смешна, а трогательна. Тот, кто жаждет быть предметом восхищения, льнет к людям, чувствует себя связанным с ними, не может жить без них. Святой Симеон Столпник один-одинешенек на одном квадратном метре столпа. И все-таки он со всем миром! В своем воображении он видит миллионы глаз, устремленных к нему! Он присутствует в миллионах голов и радуется тому. Это великий пример любви к людям и любви к жизни. Вам трудно даже представить себе, милая барышня, насколько все еще жив во всех нас Симеон Столпник. И как до сих пор он творит лучшее, что есть в наших существах.

Раздался стук в дверь, и в комнату вошел официант, толкавший перед собой тележку, заставленную закусками. Застелив стол скатертью, он стал накрывать ужин. Бертлеф, зачерпнув в сигарочнице пригоршню монет, насыпал их ему в карман. Затем все приступили к еде, а официант, стоя у них за спиной, подливал им вина и подавал блюдо за блюдом.

Бертлеф, как истый гурман, комментировал вкус отдельных кушаний, и Шкрета заметил, что он уже не помнит, когда ел с таким аппетитом.

— В последний раз, наверное, еще когда мне готовила мама, но я был тогда совсем маленький. С пяти лет я сирота. Мир, окружавший меня, был чужим, чужой мне казалась и кухня. Любовь к еде вырастает из любви к людям.

— Это правда,— сказал Бертлеф, подцепив вилкой кусок говядины.

— Одинокому ребенку кусок в горло не лезет. Поверьте, мне до сих пор больно, что у меня нет ни отца, ни матери. Поверьте, что я и сейчас, уже будучи немолодым, отдал бы все за то, чтобы иметь отца.

— Вы переоцениваете семейные узы,— сказал Бертлеф.— Все люди — ваши ближние. Не забывайте, что говорил Иисус, когда хотели отослать

его к матери и братьям. Он указал на своих учеников и сказал: Здесь матерь Моя и братья Мои.

— И все же святая церковь,— попытался возразить доктор Шкрета,— отнюдь не склонна была разрушать семью или заменять ее свободным сообществом всех и вся.

— Святая церковь вовсе не то же самое, что Христос. И святой Павел, если позволите сказать, в моих глазах не только продолжатель, но и фальсификатор Иисуса. Взять хотя бы его внезапное превращение из Савла в Павла! Разве мы не знаем достаточно страстных фанатиков, сменивших в течение ночи одну веру на другую? Пусть никто не говорит мне, что это фанатики, ведомые любовью! Это моралисты, талдычащие свои десять заповедей. Но Иисус не был моралистом. Вспомните, что он говорил, когда его упрекали в том, что он не соблюдал Субботы. Суббота для человека, а не человек для Субботы. Иисус любил женщин! А можете ли вы представить святого Павла любовником? Святой Павел осудил бы меня, поскольку я люблю женщин. А вот Иисус — нет. Не вижу ничего дурного в том, чтобы любить женщин, много женщин и быть любимым женщинами, многими женщинами.— Бертлеф улыбался в счастливом самолюбовании: — Друзья, у меня была нелегкая

жизнь, и я не раз смотрел смерти в лицо. Но в одном отношении Бог был ко мне щедр. У меня было не счесть женщин, и они любили меня.

Гости справились с ужином, и официант стал собирать со стола, когда вновь раздался стук в дверь. Стук был слабенький и робкий, словно нуждался в поощрении.

Бертлеф сказал:

— Входите.

Дверь открылась, и вошел ребенок — девочка лет пяти в белом платьице с воланчиками, опоясанная широкой белой лентой, завязанной на спине большим бантом, концы которого похожи были на крылья. В руке она сжимала стебель большого георгина. Увидев в комнате множество людей, не сводивших с нее пораженного взгляда, она остановилась, не осмеливаясь идти дальше.

Но Бертлеф привстал и, просияв, сказал:

— Не бойся, ангел мой, и поди сюда!

И девочка, увидев улыбку Бертлефа и как бы ухватившись за нее, рассмеялась и подбежала к нему. Бертлеф взял у нее цветок и поцеловал в лоб.

Сидевшие за столом и официант с удивлением наблюдали за этой сценой. Ребенок с большим белым бантом на спине действительно походил

на маленького ангела. А Бертлеф стоял сейчас, склонившись с георгином в руке, и напоминал барочные статуи святых, украшающие провинциальные площади.

— Дорогие друзья,— обратился он к присутствующим,— мне было приятно с вами и, надеюсь, вам со мной также. Я с радостью остался бы с вами до глубокой ночи, но, как изволите видеть, не могу. Этот прекрасный ангел зовет меня к той, что ждет меня. Я же вам говорил, что жизнь меня не баловала, но женщины любили меня.

Бертлеф, прижимая одной рукой георгин к груди, а другой — касаясь плеча девочки, поклонился своим собеседникам. Ольге он казался комично театральным, она радовалась, что он уходит и она наконец останется наедине с Якубом.

Бертлеф повернулся и пошел с девочкой к двери. Но, прежде чем уйти, он нагнулся к сигарочнице и насыпал себе в карман большую пригоршню серебряных монет.

11

Официант, собрав на тележку пустые тарелки, вышел из комнаты, и Ольга сказала:

— Кто эта девочка?

— Я никогда не видел ее,— сказал Шкрета.

— В самом деле, она похожа на маленького ангела,— сказал Якуб.

— Ангел, который подыскивает ему любовниц? — засмеялась Ольга.

— Да, ангел — сводник и сват. Именно так и должен был бы выглядеть его личный ангел.

— Не знаю, был ли это ангел,— сказал Шкрета,— но удивительно, что эту девочку я никогда здесь не видел, хотя знаю едва ли не каждого.

— Тогда существует тому одно объяснение,— улыбнулся Якуб.— Она была из другого мира.

— Был ли это ангел или дочка здешней горничной, за одно ручаюсь,— сказала Ольга,— ни к какой женщине он не пошел! Это ужасно самовлюбленный человек, который только и делает, что выставляется!

— Мне нравится он,— сказал Якуб.

— Возможно,— сказала Ольга,— и все-таки я настаиваю на том, что на свете нет большего себялюбца, чем он. Я готова держать пари, что за час до нашего прихода он дал какой-то девочке пригоршню пятидесятицентовых монет и попросил ее прийти сюда с цветком в такое-то время. Религиозные люди умеют великолепно инсценировать всякие чудеса.

— Я был бы рад, окажись вы правы,— сказал

доктор Шкрета.— Дело в том, что господин Бертлеф очень болен, и каждая ночь любви — для него большой риск.

— Как видите, я была права. Все эти намеки на женщин — сплошное пустословие!

— Милая барышня,— сказал доктор Шкрета,— я его врач и друг, и все-таки в этом я не уверен. Не поручусь.

— А он действительно так болен? — спросил Якуб.

— А почему, думаешь, он уже почти год живет на этом курорте, а его молодая жена, которую он обожает, лишь изредка прилетает к нему сюда?

— А здесь без него стало вдруг грустно,— сказал Якуб.

И в самом деле, все трое почувствовали себя внезапно осиротевшими, и им уже не захотелось больше оставаться в чужих апартаментах.

Шкрета встал со стула:

— Давай проводим барышню Ольгу домой и еще чуть пройдемся. Надо еще о многом потолковать.

— Мне пока не хочется спать! — запротестовала Ольга.

— Вам пора. Приказываю вам как врач,— сказал Шкрета строго.

Они вышли из Ричмонда и двинулись через парк. По дороге Ольга нашла возможность шепнуть Якубу:

— Я хотела быть сегодня вечером с тобой…

Но Якуб лишь пожал плечами, ибо Шкрета очень твердо настаивал на своем. Они проводили девушку к дому Маркса, и Якуб в присутствии друга даже не погладил ее, как обычно, по голове. Антипатия доктора к грудям, похожим на сливы, смущала его. Ольгино лицо выражало разочарование, и он пожалел, что обидел ее.

— Так что ты об этом думаешь? — спросил Шкрета, когда остался наедине с другом на парковой дорожке.— Ты слышал, как я сказал, что мне нужен отец. И камень надо мной зарыдал бы. А он завел речь о святом Павле. Неужто он и вправду не может догадаться? Уже два года толкую ему о том, что я сирота, и расхваливаю ему преимущества американского паспорта. Тысячу раз я как бы вскользь намекал на разные случаи усыновления. Эти намеки, по моим расчетам, давно должны были подсказать ему идею усыновления.

— Он слишком прислушивается к самому себе,— сказал Якуб.

— Именно так,— подтвердил Шкрета.

— Если он серьезно болен, то удивляться нечему,— сказал Якуб и добавил: — Если, конечно, дела его так плохи, как ты говорил.

— Еще хуже того,— сказал Шкрета.— Полгода назад он перенес тяжелейший инфаркт и с тех пор не может позволить себе никаких дальних путешествий и живет здесь затворником. Жизнь его висит на волоске. И он это знает.

— Как видишь,— серьезно сказал Якуб,— тебе стоило бы давно понять, что метод намеков неудачен, ибо они выливаются лишь в раздумья относительно собственной персоны. Тебе следовало бы свою просьбу высказать ему без околичностей. Он несомненно пошел бы тебе навстречу. Это доставляет ему удовольствие, ибо отвечает его представлениям о себе самом. Он хочет приносить людям радость.

— Ты гений! — воскликнул Шкрета и задумался.— Это просто как Колумбово яйцо и совершенно точно! А я-то, дурак, потерял два года жизни потому лишь, что не мог до конца разобраться в нем! Потерял два года в напрасных церемониях! И это твоя вина, ты должен был давно мне посоветовать!

— Ты должен был давно спросить меня.

— Ты уже два года не заезжал ко мне!

Друзья шли по ночному парку, вдыхая свежий аромат ранней осени.

— Если я выбрал его в отцы, то, вероятно, заслуживаю, чтобы он выбрал меня в сыновья! — сказал Шкрета.

Якуб согласился с ним.

— Вся беда в том,— сказал Шкрета после долгого задумчивого молчания,— что ты окружен идиотами! Разве я могу у кого-нибудь в этом городе спросить совета? Интеллигентный человек рождается в абсолютном изгнании. В силу своей профессии я только и занят этой мыслью: человечество плодит невероятное количество идиотов. Чем глупее индивид, тем сильнее у него желание размножаться. Полноценные личности производят на свет не более одного ребенка, а лучшие из них, вроде тебя, приходят к решению вообще не плодиться. Это катастрофа. А я постоянно мечтаю о мире, в котором человек рождался бы не в чужой среде, а в среде своих братьев.

Якуб слушал речи Шкреты и, похоже было, не находил в них ничего особенно увлекательного. Шкрета продолжал говорить:

— Не считай это словоблудием! Я не политик, я врач, и слово «брат» имеет для меня конкретный смысл. Братья — те, у кого по крайней мере один

общий родитель. Все сыновья Соломона, хотя и появились на свет от сотни разных матерей, были братьями. Это, наверное, было превосходно! Что ты думаешь на этот счет?

Якуб, вдыхая свежий воздух, не знал, что и сказать.

— Конечно,— продолжал Шкрета,— очень трудно заставить людей при совокуплении думать об интересах потомства. Но не в этом дело. В нашем веке необходимо по-иному решить проблему разумного деторождения. Человек не может до бесконечности смешивать любовь с размножением.

С этой мыслью Якуб согласился.

— Тебя прежде всего, конечно, волнует вопрос, как освободить любовь от размножения,— сказал Шкрета.— Что до меня, то речь скорее о том, как освободить размножение от любви. Я хотел посвятить тебя в свой проект. У меня в пробирке мое семя.

Тут наконец Якуб напряг внимание.

— Что ты скажешь по этому поводу?

— Превосходно! — сказал Якуб.

— Великолепно! — сказал Шкрета.— Так я вылечил уже многих женщин от бесплодия. Учти, многие женщины не имеют детей лишь потому,

что бесплодны мужья. У меня богатая клиентура со всей республики, кроме того, в последние четыре года я занимаюсь и гинекологическим обследованием женщин нашего города. Подойти со шприцем к пробирке, а затем ввести в пациентку животворящую материю — сущий пустяк.

— И сколько же у тебя детей?

— Занимаюсь этим уже несколько лет, но у меня весьма приблизительный учет. Случается, что я не могу быть уверенным в своем отцовстве, ибо иногда пациентки, так сказать, изменяют мне со своими мужьями. Или разъезжаются по своим городам, и я даже не знаю, успешным ли было мое лечение. Более точные сведения у меня о здешних пациентках.

Шкрета замолчал, а Якуб погрузился в задумчивое умиление. Проект Шкреты очаровал его и растрогал, ибо он вновь узнавал в нем своего старинного друга и неисправимого мечтателя:

— Наверное, прекрасно иметь детей от стольких женщин…— сказал он.

— И все братья,— добавил Шкрета, и они снова двинулись в путь.

Они шли, дышали благоуханным воздухом и молчали. Затем Шкрета сказал:

— Знаешь, я часто говорю себе: хоть многое нам

в этой стране и не нравится, мы все равно несем за нее ответственность. Меня страшно бесит, что я не могу свободно разъезжать по миру, но свое отечество я никогда не покинул бы. И никогда не оклеветал бы его. Пришлось бы сперва оклеветать самого себя. Что сделал каждый из нас, чтобы оно стало лучше? Что сделал каждый из нас, чтобы здесь можно было жить? Чтобы эта страна стала такой, где мы чувствовали бы себя дома? Но дома...— Шкрета понизил и смягчил голос: — Дома человек чувствует себя только среди своих. А поскольку ты сказал, что уезжаешь, я решил сделать тебя участником моего проекта. У меня есть для тебя пробирка. Ты будешь где-то на чужбине, а здесь будут рождаться твои дети. И спустя десять, двадцать лет ты увидишь, какая это будет замечательная страна.

На небе стояла круглая луна (она простоит там до последней ночи нашей истории, и потому мы по праву можем назвать ее *лунной историей*). Доктор Шкрета проводил Якуба к Ричмонду.

— Завтра тебе еще нельзя уезжать...— сказал он.

— Я должен. Меня ждут,— сказал Якуб, но чувствовал, что его можно переубедить.

— Ерунда,— сказал Шкрета.— Я рад, что тебе

мой проект нравится. Завтра мы обсудим его до мельчайших подробностей.

День четвертый

1

Когда утром пани Климова уходила из дому, ее муж еще лежал в постели.

— Не пора ли и тебе выехать? — спросила она.

— К чему спешить? Успею повозиться с этими идиотами,— ответил он и, зевнув, перевернулся на другой бок.

Позавчера он сообщил ей, что на этой утомительной конференции его обязали взять шефство над любительскими ансамблями, и потому в четверг вечером ему предстоит концертировать в одном горном курорте вместе с каким-то врачом и аптекарем, играющими джаз. Рассказывая, он чертыхался, но пани Климова, глядя ему в лицо, прекрасно понимала, что за этой бранью нет искренной злости, поскольку никакого концерта не будет, и Клима выдумал его лишь затем, чтобы выкроить время для какой-то любовной интрижки. Она читала по его лицу все; он ничего не мог утаить от нее. И когда он с проклятиями повернулся на другой бок, она вмиг поняла, что сделал он это не из-за того, что хотел спать, а

чтобы скрыть от нее лицо и не дать ей разглядеть его выражение.

Потом она ушла в театр. Когда несколько лет назад болезнь лишила ее огней рампы, он нашел ей в театре место служащей. Это было неплохо: она ежедневно встречалась там с интересными людьми и могла свободно распоряжаться рабочим временем. Подсев к столу, она попыталась составить несколько деловых писем, но не могла ни на чем сосредоточиться.

Ничто не овладевает так человеком, как ревность. Когда год назад у Камилы умерла мать, это было, конечно, несчастьем куда большим, чем какая-то авантюра трубача. И все-таки смерть матери в Камиле вызывала меньшую боль, хотя мать она бесконечно любила. Та боль была милосердно многоцветна: в ней переплетались скорбь, печаль, растроганность, угрызения совести (достаточно ли она заботилась о ней? не забывала ли о ней?) и тихая улыбка. Та боль была милосердно рассредоточена: мысли, отталкиваясь от гроба усопшей, убегали в воспоминания, в детство Камилы и даже дальше — в детство матери, убегали во многие практические заботы, убегали в будущее, которое было открыто перед ней, и в нем, как утешение (да, это были несколь-

ко исключительных дней, когда он стал для нее утешением) присутствовал Клима.

Однако боль ревности не перемещалась в пространстве, она, как бурав, вращалась вокруг единственной точки. Здесь не было никакого рассредоточения. Если смерть матери открывала двери будущего (другого, более одинокого, но вместе с тем и более зрелого), то боль, вызванная изменой мужа, не открывала никакого будущего. Все концентрировалось в едином (неизменно присутствующем) образе неверного тела, в едином (неизменно присутствующем) укоре. Когда умерла мать, она могла слушать музыку, могла даже читать; когда она ревновала, она вообще ничего не могла делать.

Еще вчера ее осенило поехать в этот курортный городок и убедиться, что подозрительный концерт действительно состоится, но потом она отвергла эту мысль, ибо знала, что ее ревность вызывает у Климы отвращение и что не стоит перед ним ее обнажать. Однако ревность работала в ней как заведенный мотор, и она не могла удержаться, чтобы не поднять телефонной трубки и не набрать номер справочной вокзала. Извинившись, она сказала, что звонит на вокзал без определенной цели, просто потому, что не может

сосредоточиться на составлении деловых писем.

Узнав, что поезд отходит в одиннадцать утра, она представила себе, как идет по незнакомым улицам, ищет афишу с именем мужа, как в дирекции курорта наводит справки о концерте, на котором должен выступать ее муж, как узнает, что никакого концерта нет и в помине и как потом бродит, несчастная и обманутая, в пустом чужом городе. И еще представила, как на следующий день Клима станет рассказывать ей про концерт, а она — расспрашивать его о подробностях. Она будет смотреть ему в лицо, слушать его небылицы и пить с горьким наслаждением ядовитое зелье его лжи.

Но следом она попрекнула себя за неразумность своего поведения. Она не должна проводить дни и недели в постоянной слежке за ним и в своих ревнивых фантазиях. Она боится потерять его, но именно этот страх и приведет к тому, что она однажды потеряет его!

Но другой голос тотчас откликнулся в ней с лукавой наивностью: она ведь не едет шпионить за ним! Ведь Клима сказал, что будет играть на концерте, и она верит ему! Именно потому, что устала ревновать, она относится к его словам серьезно и без подозрительности! Он же сказал,

что едет туда с неохотой и что приходит в ужас, представляя себе весь этот унылый день и вечер. Значит, она едет к нему лишь затем, чтобы сделать ему приятный сюрприз! Когда в конце выступления Клима станет брезгливо кланяться и изнывать душой, представляя себе тягостный обратный путь, она проберется к сцене, он увидит ее, и они счастливо рассмеются!

Она отдала директору вымученные с таким трудом письма. Ее любили в театре. Ценили за то, что она, жена прославленного музыканта, умеет быть скромной и доброжелательной. Печаль, подчас исходившая от нее, обезоруживала их. И разве директор мог бы ей отказать? Она обещала ему вернуться в пятницу после обеда и тогда, оставшись в театре до самого вечера, закончить всю недоделанную работу.

2

Было десять утра, и Ольга, как обычно, взяла у Ружены большую белую простыню и ключ. Потом пошла в кабинку, разделась, накинула на себя простыню на манер античной тоги, закрыла кабинку, ключ отдала Ружене и направилась в соседний зал, где был бассейн. Перебросив простыню через перила, она сошла по ступенькам в

воду, где уже барахталось множество женщин. Бассейн был небольшим. Но Ольга, убежденная, что плавание необходимо для ее здоровья, попыталась сделать несколько взмахов руками. Вода взволновалась, и брызги влетели в неумолкающий рот одной из дам.

— Вы что, с ума сошли? — крикнула та Ольге очень раздраженно.— Этот бассейн не для плавания!

Женщины сидели вдоль стен бассейна, точно большие лягушки. Ольга боялась их. Все они были старше ее, толще, на них было больше жира и кожи. Она покорно уселась между ними и хмуро уставилась в одну точку.

Вдруг она увидала в дверях зала невысокого молодого человека в джинсах и рваном свитере.

— Что там делает этот парень? — закричала она.

Все женщины повернулись в направлении Ольгиного взгляда и стали смеяться и визжать.

В зал вошла Ружена и объявила:

— К нам пришли кинорепортеры и хотят вас снимать для хроники.

Женщины в бассейне вновь рассмеялись.

— Что еще за выдумки! — запротестовала Ольга.

— Это с разрешения курортной администрации!

— Какое мне дело до администрации! — кричала Ольга.— Меня никто не спрашивал!

Молодой человек в рваном свитере (на шее у него болтался аппарат для измерения интенсивности света) подошел к бассейну и вперился в Ольгу с улыбкой, показавшейся ей скабрезной.

— Девушка, тысячи людей обалдеют, когда увидят вас на экране!

Женщины ответили новым взрывом смеха, а Ольга, прикрыв ладонями груди (а это, как мы знаем, не составляло труда, ибо они походили на две сливы), спряталась за чужими спинами.

К бассейну подошли еще двое мужчин, и тот, что был повыше, сказал:

— Прошу вас, ведите себя совершенно естественно, будто нас здесь вовсе нет.

Ольга протянула руку к перилам, где висела ее простыня. Обернулась в нее еще в бассейне и по ступенькам поднялась на кафельный пол зала; простыня была мокрой, с нее стекала вода.

— Эй, куда вас несет, мать его за ногу! — крикнул молодой человек в рваном свитере.

— Вам предписано еще четверть часа находиться в бассейне! — кричала ей вслед Ружена.

— Она стесняется! — смеялся за ее спиной весь бассейн.

— А то еще откусят кусочек от ее красоты! — сказала Ружена.

— Принцесса! — раздался голос в бассейне.

— Кто не хочет сниматься, естественно, может уйти! — сказал спокойным тоном высокий мужчина в джинсах.

— А чего нам стесняться! Мы ведь красивые! — громогласно заявила одна толстая дама, и гладь бассейна заволновалась от смеха.

— Но эта девушка не должна уходить! Ей положено быть здесь еще четверть часа! — возмущалась Ружена, глядя вслед Ольге, которая упрямо шла в раздевалку.

3

Нельзя сердиться на Ружену за то, что она не в духе. И все же почему ее так возмутило, что Ольга не хотела сниматься? Почему она целиком слилась с толпой толстых теток, встретивших приход мужчин веселым визгом?

И почему эти толстые тетки так весело визжали? Не потому же, верно, что хотели покрасоваться перед молодыми людьми и соблазнить их?

Вовсе нет. Их показное бесстыдство было как

раз порождено сознанием, что никакой соблазнительной красотой они не обладают. Они были полны неприязни к женской молодости и стремились выставить свои сексуально непригодные тела, как едкую издевку над женской наготой. Безобразием своих тел они хотели мстительно подорвать славу женской красоты, ибо знали, что отвратительные и прекрасные тела в конце концов одинаковы и что отвратительное тело бросает тень на прекрасное, шепча мужчине на ухо:

— Смотри, это подлинная суть того тела, что околдовывает тебя! Смотри, эти большие приплюснутые груди — то же самое, что и те перси, которые ты боготворишь!

Веселое бесстыдство толстых баб в бассейне было некрофильской пляской над скоротечностью молодости, и было тем веселее, что в бассейне в качестве жертвы присутствовала молодая девушка. Жест Ольги, обернувшейся в простыню, они восприняли как саботаж своего злобного обряда и разъярились.

Однако Ружена не была ни толстой, ни старой, она была даже красивее Ольги! Так почему же она тогда не встала на ее сторону?

Если бы Ружена решилась на аборт и верила,

что ее ждет счастливая любовь с Климой, она все воспринимала бы иначе. Любовь мужчины выделяет женщину из толпы, и Ружена, блаженствуя, чувствовала бы свою неповторимую индивидуальность. Она видела бы в толстых бабах недругов, а в Ольге — свою сестру. Она благоволила бы к ней, как благоволит одна красота к другой, одно счастье к другому, одна любовь к любви другой.

Но прошлой ночью Ружена очень плохо спала и поняла, что не может верить в любовь Климы, и потому все, что выделяло ее из толпы, представилось ей обманом. Единственное, что было у нее,— это распускающийся росток в животе, охраняемый обществом и традицией. Единственное, что было у нее,— это пресловутая всеобщность женского удела, которая обещала ей вступиться за нее.

А эти женщины в бассейне — они как раз и воплощали женственность в ее всеобщности: женственность вечного деторождения, кормления, увядания, женственность, смеющуюся над тем быстротечным мгновением, когда женщина верит, что она любима, и чувствует себя созданием неповторимым.

Между женщиной, верящей в свою исключи-

тельность, и женщинами, облачившимися в убор всеобщего женского удела, не может быть примирения. После бессонной ночи, полной раздумий, Ружена встала (бедный трубач!) на сторону последних.

4

Якуб сидел за рулем, а рядом, по соседству,— Бобеш, который поминутно поворачивал к нему голову и облизывал его. За последними низкими домиками курортного местечка высилась многоэтажка — год назад ее здесь еще не было. Она стояла среди зеленого пейзажа, точно веник в вазоне, и казалась Якубу отвратительной. Он погладил Бобеша, удовлетворенно смотревшего на пейзаж, и подумал, что Господь был милостив к собакам, не вложив в их головки чувства красоты.

Пес снова лизнул Якуба (верно, чувствовал, что Якуб все время думает о нем), и Якубу пришло на ум, что его отечество будет развиваться не в лучшую и не в худшую, а во все более смешную сторону: здесь он когда-то пережил охоту на людей, а вчера стал свидетелем охоты на собак, словно это был один и тот же спектакль, только с другими исполнителями. Вместо следователей

и охранников в нем выступали пенсионеры, а вместо заключенных политиков — боксер, дворняжка и такса.

Он вспомнил, как несколько лет назад его столичные соседи у двери квартиры нашли своего кота, у которого в оба глаза были вбиты гвозди, вырезан язык и связаны лапки. Дети с их улицы играли во взрослых. Якуб снова погладил Бобеша по голове и припарковал машину у трактира.

Выходя из машины, Якуб предполагал, что пес радостно бросится к двери своего дома. Но вместо этого Бобеш стал прыгать на Якуба, приглашая его поиграть. Вдруг раздалось «Бобеш!» — и пес побежал к женщине, стоявшей на завалинке.

— Ты неисправимый бродяжка,— сказала она и, извиняясь, спросила Якуба, долго ли ему пришлось возиться с Бобешом.

Когда он ответил ей, что провел с ним ночь, а сейчас привез на машине, женщина осыпала его шумными благодарностями и сразу же пригласила в дом. Она усадила его в особое помещение, где, по всей вероятности, устраивались банкеты для узкого круга, и побежала звать мужа.

Вскоре она вернулась в сопровождении молодого человека, который, подсев к Якубу, протянул ему руку:

— Вы, несомненно, прекрасный человек, если приехали сюда только ради Бобеша. Он ужасный балбес и вечно бродяжничает. Но мы его любим. Не откажите пообедать с нами!

— С удовольствием,— сказал Якуб, и женщина поспешила в кухню. Тем временем Якуб рассказал, как он спас Бобеша от удавки пенсионеров.

— Вот подонки! — вскричал молодой человек и следом — в сторону кухни: — Вера! Поди сюда! Ты слышала, что эти подонки вытворяют?

Вера вошла в комнату с подносом, на котором дымился суп. Она села, и Якубу снова пришлось рассказать вчерашнюю историю. Пес сидел под столом, позволяя чесать себя за ушами.

Когда Якуб покончил с супом, молодой человек принес из кухни свинину с кнедликами.

Якуб сидел у окна, ему было хорошо. Молодой человек проклинал тех внизу (Якуба очаровывало, что трактирщик свое заведение считает местом наверху, Олимпом, точкой, откуда все видно на расстоянии и с высоты птичьего полета), а его жена привела за руку двухлетнего мальчика:

— Поблагодари дядю, он привез тебе Бобешка.

Мальчик пробормотал несколько невнятных слов и засмеялся, глядя на Якуба. Снаружи све-

тило солнце, и желтеющая листва миролюбиво склонялась к окнам. Стояла тишина. Трактир был высоко над миром, и в нем царил покой.

Хотя Якуб и не горел желанием размножаться, детей он любил.

— У вас симпатичный мальчуган,— сказал он.

— Потешный,— сказала женщина.— Не пойму, в кого он такой носастый.

Якубу вспомнился нос его друга, и он сказал:

— Доктор Шкрета говорил мне, что вы у него лечились.

— Вы знаете пана доктора? — радостно спросил молодой человек.

— Это мой товарищ,— ответил Якуб.

— Мы ему страшно благодарны,— сказала молодая мамочка, и Якуб подумал, что этот ребенок, вероятно, одна из удач евгенического проекта Шкреты.

— Это не врач, а чародей,— с восхищением сказал молодой человек.

Якуба осенила мысль, что эти трое здесь в этом по-вифлеемски тихом уголке не что иное как *святое семейство* и что их дитя происходит не от отца человеческого, а от Бога — Шкреты.

Носатый мальчик снова пробубнил несколько невнятных слов, и молодой отец любовно по-

смотрел на него.

— Откуда тебе знать,— сказал он своей жене,— кто из твоих далеких предков был носачом.

Якуб рассмеялся. Ибо на ум ему пришел странный вопрос: пользовался ли доктор Шкрета шприцем, чтобы оплодотворить свою дорогую Зузи?

— Разве я не прав? — засмеялся молодой отец.

— Несомненно правы,— сказал Якуб.— Великое утешение в том, что мы уже давно будем почивать в могиле, а по свету станет расхаживать наш нос.

Все засмеялись, и мысль, что Шкрета может быть отцом мальчика, представилась теперь Якубу всего лишь забавной выдумкой.

5

Франтишек получил деньги от хозяйки, которой починил холодильник, вышел на улицу, сел на свой безотказный мотоцикл и поехал на окраину городка в районное монтажное управление сдать дневную выручку. Было немногим более двух, когда он полностью освободился. Он снова завел мотоцикл и двинул к курорту. На стоянке увидел белый лимузин. Припарковал мотоцикл рядом с колоннадой, прошел к клубу, предпола-

гая, что именно там может быть трубач.

Не дерзость и не воинственность вели его туда. Он уже и не думал устраивать сцены. Напротив, готов был целиком переломить себя, смириться, подчиниться. Говорил себе, что любовь его так велика, что ради нее он способен согласиться на все. Так же, как сказочный принц выдерживает ради принцессы любые испытания и трудности, борется с драконом и переплывает океан, так и он готов на бесконечное унижение, мыслимое разве что в сказках.

Отчего же он так безропотен? Почему бы не поискать ему другую девушку, каких на этом горном курорте столь заманчивый переизбыток?

Франтишек моложе Ружены, то бишь на свое несчастье он очень молод. Лишь повзрослев, он познает недолговечность сущего и поймет, что за горизонтом одной женщины сразу же открывается горизонт других женщин. Однако Франтишеку пока неведомо, что такое время. С детства он живет в мире, пребывающем в неизменности, он живет в какой-то неподвижной вечности, у него один и тот же отец, одна и та же мать и одна Ружена, которая сделала его мужчиной, которая возвышается над ним как небосвод, единственно возможный небосвод. Он не в силах представить

себе жизнь без нее.

Вчера он послушно обещал не шпионить за ней и даже решил сегодня избегать ее. Он убеждал себя, что его интересует один трубач, и если он выследит только его, то не нарушит своего обещания. Он, конечно, понимал, что это лишь увертка и что Ружена осудила бы его поведение, но этот позыв был в нем сильнее любого рассуждения или умысла. Это было столь же неотвратимо, как наркомания: он должен был видеть его; он должен был видеть его, видеть снова, не торопясь и вблизи. Он должен был заглянуть в лицо своей пытки. Он должен был посмотреть на его тело, чье слияние с телом Ружены казалось ему невероятным и немыслимым. Он должен был посмотреть на него, чтобы попытаться определить глазами, совместимы их тела или нет.

На сцене уже играли: доктор Шкрета был за барабаном, какой-то маленький человечек — за роялем, а Клима — с трубой. На стульях в зале сидело несколько молодых парней, джазовых фанатов, проникших сюда, чтобы понаблюдать за репетицией. И Франтишеку нечего было опасаться, что для кого-то станет очевидной причина его прихода. Он был уверен, что трубач, ослепленный фарами его мотоцикла, не разглядел в среду его

лица, а другие о его отношениях с Руженой благодаря ее же осмотрительности вряд ли что знают.

Трубач прервал свою партию и подсел к роялю, чтобы проиграть для маленького человечка один пассаж в более подходящем ритме. А Франтишек сидел в конце зала, постепенно становясь тенью, которая в этот день ни на миг не покинет трубача.

6

Он возвращался из загородного трактира, и ему было жалко, что рядом уже не сидит веселый пес, который поминутно облизывал бы ему лицо. И он тут же подумал о том, какое это чудо, что в течение всех сорока пяти лет своей жизни он сохранил свободным место рядом с собой, и теперь может покинуть эту страну легко, без багажа, ничем не обремененный, один, с обманчивым и все же прекрасным ощущением молодости, словно студент, который только сейчас строит планы на будущее.

Он стремился полностью проникнуться сознанием, что покидает родину. Он стремился воссоздать в памяти свою прошлую жизнь. Стремился увидеть ее в образе просторного края, на который он оглядывается с печалью, края голо-

вокружительно далекого. Не получалось. То, что он сумел мысленно увидеть позади себя, было мелким, сплюснутым, словно закрытая гармоника. Он с усилием восстанавливал лишь обрывки воспоминаний, которые смогли бы выстроиться в некую иллюзию прожитой судьбы.

Он оглядывал деревья вокруг. Листья были зелеными, красными, желтыми и коричневыми. Леса, казалось, занялись пожаром. Он подумал, что уезжает в дни, когда горят леса, и это прекрасное и безжалостное пламя пожирает его жизнь и воспоминания. Должен ли он страдать из-за того, что не страдает? Должен ли он испытывать тоску из-за того, что не испытывает тоски?

Да, тоски он не испытывал, но и торопиться не хотелось. По договоренности с зарубежными друзьями ему полагалось бы уже в эти минуты пересечь границу, но он чувствовал, что его вновь одолевает какая-то раздумчивая леность, которая в кругу его знакомых пользовалась комичной известностью, ибо он предавался ей именно тогда, когда от него требовались решительные и определенные действия. Он знал, что до последней минуты будет декларировать, что должен уехать еще сегодня, но понимал и то, что с самого утра делает все, чтобы оттянуть свой отъезд из этого

милого курортного городка, куда многие годы приезжал к своему другу, порой после больших перерывов, но всегда с удовольствием.

Он припарковал машину (да, рядом с белым лимузином трубача и красным мотоциклом Франтишека) и вошел в винный погребок, где через полчаса должен был встретиться с Ольгой. Ему приглянулся столик в дальнем углу у окна, откуда были видны пламенеющие деревья парка, но, к сожалению, там сидел мужчина лет тридцати. Якуб сел за соседний стол. Отсюда не было видно деревьев, однако его внимание приковал вид этого человека, который заметно нервничал, непрерывно постукивая ногой об пол и не отрывая глаз от входа.

7

Наконец она вошла. Клима вскочил со стула, подошел к ней и повел ее к столику у окна. Он улыбался ей, словно этой улыбкой хотел сказать, что уговор их в силе, что оба они спокойны, уравновешенны и доверяют друг другу. Он искал в выражении лица девушки одобрительный ответ на свою улыбку, но такового не обнаружил. Это обеспокоило его. Он боялся говорить о том, о чем думал, и завел с девушкой незначащий разговор,

который должен был создать непринужденную обстановку. Но его слова разбивались о ее молчание, как об утес.

И вдруг она прервала его:

— Я передумала. Это было бы преступлением. Ты, наверное, мог бы такое сделать, а я нет.

У трубача оборвалось сердце. Он безмолвно смотрел на Ружену, не зная, что и сказать ей. Чувствовал лишь отчаянную усталость. А Ружена все повторяла:

— Это было бы преступлением.

Он смотрел на нее, и она казалась ему нереальной. Эта женщина, облик которой он не мог даже воссоздать на расстоянии, представлялась ему теперь его пожизненной карой. (Как и все мы, Клима также считал реальным лишь то, что входит в нашу жизнь изнутри, постепенно, органически, а то, что приходит извне, неожиданно и случайно, он воспринимал как вторжение нереального. К сожалению, нет ничего более реального, чем это нереальное.)

Затем около их столика появился официант, узнавший позавчера трубача. Он принес на подносе две рюмки коньяка и добродушно сказал:

— Верно, я по глазам читаю ваше желание.

А Ружене сказал то же, что и в прошлый раз:

— Гляди в оба! Все девчата готовы глаза тебе выцарапать! — и сам же от души засмеялся.

Весь во власти своего ужаса, Клима не обращал внимания на болтовню официанта. Глотнув коньяку, он наклонился к Ружене:

— Прошу тебя! Мы же договорились. Мы все объяснили друг другу. Почему ты внезапно изменила решение? Ты ведь согласилась с тем, что первые годы нам лучше посвятить друг другу. Ружена! Мы же делаем это ради нашей любви и ради того, чтобы у нас был ребенок, которого мы оба по-настоящему захотим.

8

Якуб вмиг узнал медсестру, которая вчера хотела бросить Бобеша старикам на расправу. Не спуская с нее глаз, он пытался понять, о чем она беседует с мужчиной. Не разбирая ни единого слова, он лишь чувствовал напряженность их разговора.

Вскоре стало заметно, что мужчину придавила какая-то новость. Прошла минута, другая, пока он снова обрел способность говорить. По его выражению можно было понять, что он в чем-то убеждает девушку и о чем-то просит. Но девушка чопорно молчала.

Якубу показалось, что на карту поставлена чья-то жизнь. В этой светловолосой девушке он все время видел образ *той, которая готова придержать для палача жертву*, и ни на миг не сомневался, что мужчина на стороне жизни, а она на стороне смерти. Мужчина хочет сохранить чью-то жизнь, просит о помощи, а блондинка отказывает, и кто-то должен из-за нее умереть.

А потом он увидел, что мужчина перестал настаивать, что он улыбается и даже гладит девушку по лицу. Может, договорились? Вовсе нет. Лицо под желтыми волосами было непримиримо устремлено в свои дали, минуя взгляд мужчины.

Якуб не в состоянии был отвести взор от этой девушки, которую со вчерашнего дня воспринимал лишь как пособницу палачей. Ее лицо было красивым и пустым. Достаточно красивым, чтобы привлечь мужчину, но и достаточно пустым, чтобы в нем затерялись все его слезные просьбы. Лицо было еще и гордым, и Якубу подумалось, что оно гордится не своей красотой, а именно своей пустотой.

Якубу казалось, что в этом лице встретились тысячи других лиц, которые он хорошо знал. Ему казалось, что вся его жизнь была не чем иным, как непрестанным диалогом с этим лицом. Когда

он пытался что-то объяснить ему, оно обиженно отворачивалось, на его доводы отвечало разговором о чем-то другом, когда он улыбался ему, оно упрекало его в легкомыслии, когда о чем-то просил, обвиняло его в высокомерии,— лицо, которое ничего не понимало и решало все, лицо пустое, как бесплодная степь, и гордое своей пустотой.

У Якуба мелькнула мысль, что сегодня в последний раз он смотрит на это лицо, чтобы уже завтра навсегда покинуть пределы его царства.

9

Ружена тоже заметила Якуба и узнала его. Она чувствовала на себе его пристальный взгляд, это нервировало ее. Ей казалось, что она в окружении двух тайно объединившихся мужчин, в окружении двух взглядов, нацеленных на нее, точно два дула.

Клима повторял свои доводы, а она не знала, что отвечать. Она ведь постаралась уверить себя, что там, где речь идет о будущем ребенке, рассудку нет места, и право голоса принадлежит лишь чувствам. Она молча отвернула лицо от взглядов обоих мужчин и уставилась в окно. Определенная сосредоточенность при этом рождала в ней оскорбленное чувство непонятой возлюбленной

и матери, и оно всходило в ее душе, будто тесто для кнедликов. Не умея выразить его словами, она дала ему излиться из глаз, устремленных в какую-то одну точку парка напротив.

Но именно там, куда Ружена тупо смотрела, она вдруг разглядела знакомую фигуру и испугалась. Сейчас она уже не слышала, что говорит ей Клима. Это был уже третий взгляд, чье дуло было направлено на нее, и он был самым опасным. Ведь Ружена поначалу была не совсем уверена, кто стал причиной ее будущего материнства. В расчет принимался скорее тот, кто сейчас тайно следил за ней, неудачно спрятавшись за деревом в парке. Конечно, эти сомнения были только поначалу, позднее она все больше склонялась к тому, что трубач виноват в ее беременности, пока наконец твердо не решила, что это он и никто другой. Постараемся понять: она вовсе не хотела ложно приписывать ему свою беременность. Своим решением она избрала не ложь, а правду. Она решила, что так было *на самом деле*.

Впрочем, материнство — вещь настолько священная, что ей казалось невозможным, чтобы причиной его был тот, кого она едва ли не презирала. И вовсе не логические соображения, а какое-то сверхрассудочное озарение убеждало

ее, что зачать она могла лишь от того, кто ей нравился, кто вызывал в ней интерес, кем она восхищалась. А когда она услыхала в телефонную трубку, что тот, кого она избрала в отцы своего ребенка, потрясен, испуган и противится своему отцовскому предназначению, все было окончательно решено, ибо в ту минуту она уже не только уверилась в своей правде, но была готова броситься за нее в огонь и в воду.

Помолчав, Клима погладил Ружену по лицу. Очнувшись от своих мыслей, она увидела его улыбку. Хорошо бы, сказал он, опять поехать им на машине за город, ибо этот столик в кабачке разделяет их, точно холодная стена.

Она испугалась. Франтишек все еще стоял за деревом в парке и смотрел в окно винного погребка. Что, если он снова налетит на них, как только они выйдут на улицу? Что, если снова устроит скандал, как в среду?

— Получите за два коньяка,— сказал Клима официанту.

Она вынула из сумки стеклянный тюбик.

Трубач подал официанту банкнот и широким жестом отказался от сдачи.

Ружена открыла тюбик, стряхнула на ладонь таблетку и проглотила ее.

Когда она закрывала тюбик, трубач, повернувшись к ней снова, заглянул ей в глаза. Он протянул руки к ее рукам, и она, выпустив из ладони тюбик, покорилась ласке его пальцев.

— Пойдем,— сказал он, и Ружена встала. Она приметила взгляд Якуба, пристальный и неприветливый, и отвела глаза.

Когда они вышли на улицу, она тревожно посмотрела в парк, однако Франтишека там уже не было.

10

Якуб встал, взял бокал недопитого вина и пересел за освободившийся столик. Полюбовавшись из окна красноватыми деревьями парка, он опять подумал, что это пожар, в который он бросает все свои прожитые сорок пять лет. Затем его взгляд соскользнул на доску стола, и он увидел рядом с пепельницей забытый стеклянный тоненький тюбик. Взял его, осмотрел: на нем было написано название незнакомого лекарства и чернилами приписано: *3 раза в день*. Таблетки в тюбике были голубого цвета. Это показалось ему странным.

Он проводил последние часы на родине, и потому все мелкие события приобретали особенное значение, превращаясь в аллегорический

театр. Есть ли некий смысл в том, подумал он, что именно сегодня кто-то оставляет для меня на столе тюбик голубых таблеток? И почему мне оставляет его именно эта женщина, Преемница политических гонений и Пособница палачей? Хочет ли она мне тем самым сказать, что потребность в голубых таблетках еще не иссякла? Или напоминанием о яде хочет выразить мне свою неискоренимую ненависть? Или хочет мне сказать, что мой отъезд из этой страны такая же покорность судьбе, как и готовность проглотить голубую таблетку, которую я ношу в кармашке?

Он вынул сложенную бумажку, развернул ее. Сейчас, когда он посмотрел на свою таблетку, ему показалось, что она все-таки немного темнее пилюлек в забытом тюбике. Открыв его, он вытряхнул одну таблетку на ладонь. Да, она немного темнее и меньше. Затем он вложил обе таблетки в тюбик. Когда же скользнул сейчас по ним беглым взглядом, никакого различия не обнаружил. Поверх невинных таблеток, предназначенных, вероятно, для самых обыкновенных лечебных целей, легла замаскированная смерть.

В эту минуту к столу подошла Ольга. Он быстро закрыл тюбик крышечкой, положил возле пепельницы и встал, чтобы встретить приятель-

ницу.

— Я только что видела знаменитого трубача Климу! Возможно ли? — выпалила она, усаживаясь напротив Якуба.— Он шел под руку с этой мерзкой бабой! Что я сегодня пережила из-за нее в бассейне!

Тут она запнулась, поскольку Ружена, внезапно возникнув у их столика, сказала:

— Я здесь забыла таблетки.

Прежде чем Якуб успел ей ответить, она увидела лежавший возле пепельницы тюбик и протянула к нему руку.

Но он, оказавшись проворнее, опередил ее.

— Отдайте! — потребовала Ружена.

— Я хочу попросить вас кое о чем,— сказал Якуб.— Я могу взять одну таблетку?

— Перестаньте, пожалуйста, у меня нет времени…

— Я принимаю точно такие же лекарства…

— Я не походная аптека,— сказала Ружена.

Якуб хотел открыть крышечку тюбика, но прежде чем успел это сделать, Ружена попыталась выхватить тюбик. Якуб мгновенно сжал его в кулаке.

— Что вы делаете! Отдайте мне таблетки! — крикнула она.

Якуб, глядя ей в глаза, стал медленно разжимать ладонь.

11

Под стук колес перед ней ясно обнажалась тщета ее поездки. Она ведь совершенно убеждена, что ее мужа нет на курорте. Так почему она туда едет? Едет четыре часа на поезде, чтобы только убедиться в том, в чем она и так не сомневалась, и потом уехать обратно? Однако то, что гнало ее в путь, не было осмысленной целью. То был мотор, который работал в ней на полную мощность, и его нельзя было остановить.

(Да, в эти минуты Франтишек и Камила были выпущены в пространство нашей истории, как две ракеты, управляемые на расстоянии слепой — впрочем, что же это за управление? — ревностью.)

Связь столицы с горным курортом далеко не из лучших, и пани Климовой пришлось трижды пересаживаться, прежде чем она в конце концов вышла, усталая, на идиллической станции, залепленной рекламами, рекомендующими здешние лечебные источники и чудодейственные грязи. От станции к курорту она шла тополиной аллеей, и в начале колоннады в глаза ей бросилась нари-

сованная от руки афиша, на которой красными буквами было выведено имя ее мужа. Потрясенная, она остановилась перед ней и под именем мужа прочла еще два мужских имени. Трудно было даже поверить: Клима, значит, не обманывал ее! Все было так, как он сказал ей. В первые мгновения она ощутила неизмеримую радость, чувство давно утраченного доверия.

Но радость длилась недолго, ибо тут же следом Камила осознала, что сам факт концерта вовсе еще не служит доказательством супружеской верности. Он согласился выступить на этом западном курорте наверняка лишь потому, что хотел здесь встретиться с женщиной. И тут она поняла, что все гораздо хуже, чем она предполагала, и что она оказалась в ловушке:

Она ехала сюда, чтобы убедиться, что мужа здесь нет, и тем самым (вновь, в который уж раз!) *косвенно* уличить его в измене. Но теперь положение изменилось: она уличит его не во лжи, а в неверности (причем совершенно *прямо* и явно). Хочется ей или нет, но она увидит постороннюю женщину, с которой Клима проводит сегодняшний день. От этой мысли у нее едва не подкосились ноги. Хотя она и была уверена, что знает все, но до сих пор ничего (ни одной его лю-

бовницы) *не видела*. Впрочем, по правде говоря, она совсем ничего не знала, а лишь предполагала, что знает, и этому предположению придавала весомость истины. Она верила в его измены, как христианин в существование Божье. Однако христианин верит в Бога в полной уверенности, что никогда не узрит Его. И она, представив себе, что сегодня увидит Климу с посторонней женщиной, испытала такой же ужас, какой испытал бы христианин, позвони ему Бог и сообщи, что придет к нему пообедать.

Тревога сковала все ее тело. Но вдруг она услыхала, как кто-то окликнул ее по имени. Она обернулась и увидала трех молодых мужчин, стоявших в центре колоннады. Они были в джинсах и свитерах и отличались своим богемным видом от скучной тщательности, с какой одеты были остальные курортники, прогуливавшиеся вдоль колоннады. Они улыбались ей.

— Привет! — крикнула она им. Это были киношники, друзья, которых она знала еще с той поры, когда выступала с микрофоном на подмостках.

Самый высокий из них, режиссер, тотчас взял ее под руку:

— Как чудесно было бы вообразить, что ты

приехала сюда к нам и ради нас…

— А ты приехала всего лишь к своему мужу…— грустно сказал его помощник.

— Какая жалость! — сказал режиссер.— Самую красивую женщину стольного града некий трубач держит в клетке, и потому уже годы ее нигде не видать…

— Мать его за ногу! — сказал оператор (молодой человек в рваном свитере).— Пошли обмоем это дело!

Они думали, что расточают свои восторженные речи перед ослепительной королевой, которая тотчас равнодушно бросит их в плетеную корзинку, полную других ненужных даров. А она между тем принимала их слова с благодарностью, словно девушка-хромоножка, поддержанная благожелательной рукой.

12

Ольга говорила, а Якуб думал о том, что отдал незнакомой женщине яд, который она может проглотить в любую минуту.

Произошло это внезапно, быстрее, чем он успел осознать. Произошло это помимо его сознания.

Ольга без умолку говорила, а Якуб мысленно оправдывал себя тем, что не хотел давать тюбик

этой женщине и что она сама вынудила его сделать это.

Но как бы он ни убеждал себя, он знал, что это пустая отговорка. У него была тысяча возможностей не подчиниться медсестре. Ее наглости он мог противопоставить собственную наглость и, спокойно сбросив верхнюю таблетку на ладонь, сунуть ее в карман.

А если у него не нашлось достаточно выдержки и он не сделал необходимого, он мог в конце концов броситься за ней следом и признаться, что в тюбике яд. В этом не было ничего сложного: просто объяснить, как все произошло.

А он меж тем сидит и смотрит на Ольгу, которая говорит что-то. Нет, он все-таки должен подняться и побежать за медицинской сестрой. Еще есть время. И он обязан сделать все, чтобы сохранить ей жизнь. Так почему же он сидит и не двигается с места?

Ольга говорила, а он удивлялся тому, что сидит и не двигается с места.

Да, надо подняться и пойти поискать ее. Но как сказать Ольге, что он должен уйти? Надо ли поделиться с ней тем, что произошло? Нет, он не может с ней поделиться. Что, если медсестра проглотит лекарство раньше, чем он догонит

ее? Разве Ольга должна знать, что он убийца? Но если он и догонит медсестру вовремя, как ему оправдаться перед Ольгой, что он так долго колебался? Как ей объяснить, что он вообще отдал тюбик этой женщине? Ведь уже сейчас, только из-за этих коротких мгновений, что он сидит здесь и бездействует, любой наблюдатель сочтет его убийцей!

Нет, он не может поделиться с Ольгой, но что сказать ей? Как объяснить, что он сейчас вдруг встанет из-за стола и куда-то побежит?

Но разве сколько-нибудь важно, что он ей скажет? Какие глупости приходят ему все время на ум! Перед лицом жизни и смерти какое имеет значение, что подумает Ольга?

Он знал, что его рассуждения насквозь порочны и что каждая минута промедления повышает опасность, в какой оказалась медсестра. А впрочем, и сейчас уже поздно. За то время, пока он здесь медлит, она с молодым человеком уже так далеко ушла от винного погребка, что он и не ведает, в какую сторону бежать, чтобы найти ее. Откуда ему знать, куда они пошли. В какую сторону податься за ними?

Но он тотчас осознал, что и это всего-навсего новая отговорка. Найти ее было бы трудно, но

возможно. Еще не поздно что-то сделать, но делать нужно немедленно, пока не стало поздно!

— С самого утра день был для меня неудачным,— сказала Ольга.— Я проспала, опоздала на завтрак, меня не хотели кормить, в бассейне были эти дурацкие киношники. А я так мечтала, чтобы сегодняшний день был чудесным, коль я вижу тебя в последний раз. Ты даже не знаешь, как для меня это важно. Якуб, знаешь ли ты вообще, как для меня это важно?

Она перегнулась через стол и взяла его за руки.

— Не волнуйся, нет причин, чтобы этот день был для тебя неудачным,— сказал он ей с усилием, поскольку вообще не мог на ней сосредоточиться. Какой-то голос без устали напоминал ему, что у медсестры в сумке яд и что от него зависит, жить ей или умереть. Этот голос был назойливо постоянным, но при этом удивительно слабым, словно доносился из глубочайших глубин.

13

Клима ехал с Руженой по лесной дороге и убеждался, что на сей раз прогулка на роскошной машине не приносит ему желанного успеха. Ему не удавалось преодолеть ожесточенную неприступность Ружены, и потому он надолго умолк.

Когда молчание сделалось слишком тягостным, он сказал:

— Ты придешь на концерт?

— Не знаю,— ответила она.

— Приходи,— сказал он, и вечерний концерт стал поводом для разговора, который на время отвлек их от пререканий. Клима старался в шутливом тоне рассказывать о главном враче, играющем на барабане, а решающий поединок с Руженой вознамерился отложить на вечер.

— Надеюсь, ты подождешь меня после концерта,— сказал он.— Как и в тот раз, когда я играл здесь…

Только выговорив последние слова, он осознал их смысл. «Как и в тот раз» означает, что после концерта они должны были бы заняться любовью. Боже правый, почему он вообще не принимал в расчет такую возможность?

Странно, но до этой минуты ему совершенно не приходило на ум, что он мог бы спать с ней. Ее беременность тихо и незаметно отодвинула ее во внесексуальное пространство страха. Хотя он и положил себе быть с ней нежным, целовать и гладить ее и старался вести себя именно так, однако все, что он ни делал, было только жестом, пустым знаком, при полном отсутствии всякой

телесной заинтересованности.

Думая об этом сейчас, он пришел к мысли, что именно эта его незаинтересованность была самой большой ошибкой, какую он допустил в эти дни. Да, теперь это стало ему совершенно ясно (и он сердился на своих друзей-советчиков, упустивших этот момент): непременно нужно переспать с ней! Ведь эта внезапная отчужденность, которой окуталась девушка и сквозь которую он не в силах пробиться, вызвана именно тем, что их тела остаются далекими. Отвергая ребенка, цветок ее утробы, он тем самым оскорбительно отвергает и ее зачавшее тело. И потому тем больший интерес он должен был бы проявить к ее незачавшему телу. Он должен был бы противопоставить ее родящее тело телу неродящему и в нем найти своего союзника.

Когда он все так осмыслил, в нем вновь ожила надежда. Он сжал плечо Ружены и наклонился к ней:

— Наши споры разрывают мне сердце. Уверяю тебя, все как-то уладится. Главное, что мы вместе. Эту ночь у нас никто не посмеет отнять, и она будет так же прекрасна, как и та, последняя.

Одной рукой он держал руль, другой — обнимал ее за плечи, и вдруг ему показалось, что где-то

далеко в его глубинах просыпается влечение к ее голой коже, и он наполнился радостью: ведь только это влечение способно было предоставить ему единый общий язык, на котором он мог с ней договориться.

— А где мы встретимся? — спросила она.

Клима тут же осознал, что весь курорт станет свидетелем того, с кем он уходит после концерта. Но выбора не было:

— Как только концерт кончится, приходи ко мне за кулисы.

14

В то время как Клима поспешал в клуб, чтобы еще раз прорепетировать «Сент-Луис Блюз» и «Святые маршируют», Ружена пытливо оглядывалась по сторонам. Еще минуту назад, когда ехала в машине, она несколько раз в зеркале заднего обзора видела, как он издали следует за ними на мотоцикле. Но сейчас его нигде не было.

Она ощущала себя затравленным зверем, за которым охотится время. Она понимала, что до завтрашнего дня ей надо знать, что она хочет, но сейчас она не знала ничего. Во всем мире не было ни одной души, которой бы она верила. Семья была ей чужой. Франтишек любил ее, но именно

поэтому она и не доверяла ему (как лань не доверяет охотнику). Климе не доверяла она, как не доверяет охотник лани. Хотя она и была дружна со своими сослуживицами, но и им она не верила до конца (как охотник не доверяет другим охотникам). Она шла по жизни одна, а в последнее время с каким-то странным дружком, которого носила в утробе, о котором одни говорили, что это ее величайшее счастье, а другие — прямо противоположное, и к которому она сама вовсе не имела никакого отношения.

Она ничего не знала. Ее переполняло незнание. Она была само незнание. Не знала даже, куда идет.

Она шла мимо ресторана «Славия», самого ужасного заведения на курорте, грязного кабака, куда захаживали местные жители выпить пива и поплевать на пол. Когда-то, верно, это заведение было лучшим в округе, и с той поры сохранились здесь в маленьком палисаднике три деревянных, выкрашенных красной краской (но уже облупившейся) стола со стульями — память о буржуазных радостях эстрадных оркестров, танцевальных праздников и дамских зонтиков, прислоненных к стульям. Но что знала о тех временах Ружена, шедшая по жизни лишь узким мостиком настоя-

щего без всякой исторической памяти?

Она не могла видеть тень розового зонтика, отброшенную сюда из временной дали, а видела лишь трех мужчин в джинсах, одну красивую женщину и бутылку вина посреди пустого стола. Один из мужчин окликнул ее. Она повернулась и узнала оператора в рваном свитере.

— Идите к нам,— крикнул он ей.

Она послушалась.

— Эта очаровательная девушка дала нам сегодня возможность отснять короткий порнографический фильм,— представил оператор Ружену женщине, которая протянула ей руку и невнятно пробормотала свое имя.

Ружена села возле оператора, он поставил перед ней бокал и наполнил его вином.

Ружена была благодарна, что что-то происходит. Что ей не нужно думать, куда идти и что делать. Что ей не нужно решать, оставить или не оставить ребенка.

15

Наконец он все же пересилил себя. Расплатившись с официантом, сказал Ольге, что пока расстается с ней и что встретятся они только перед концертом.

Ольга спросила, что он собирается делать, и у него вдруг возникло скверное ощущение того, что его допрашивают. Он ответил, что должен встретиться со Шкретой.

— Хорошо,— сказала она,— но это же не продлится так долго. Я пойду переоденусь, а в шесть часов буду ждать тебя опять здесь. Приглашаю тебя на ужин.

Якуб проводил Ольгу к дому Маркса. Когда она исчезла в коридоре, что вел к комнатам, он наклонился к привратнику:

— Скажите, пожалуйста, сестра Ружена дома?

— Нет,— сказал привратник.— Ключ висит здесь.

— Мне необходимо поговорить с ней,— сказал Якуб,— не знаете, где я мог бы найти ее?

— Не знаю.

— Недавно я видел ее с трубачом, сегодня вечером он дает здесь концерт.

— Да, я тоже слыхал, что между ними что-то есть,— сказал привратник.— Он наверняка репетирует сейчас в клубе.

Доктор Шкрета, сидевший на сцене за барабанами, увидел в дверях зала Якуба и поднял в знак приветствия палочку. Якуб, улыбнувшись ему, оглядел ряды стульев, где сидело с десяток

фанатов (да, Франтишек, превратившись в тень Климы, тоже был среди них). Якуб сел на стул и стал ждать, не появится ли в зале медсестра.

Куда бы еще пойти поискать ее, раздумывал он. Она могла быть сейчас в самых разных местах, о которых он и понятия не имел. Может, спросить трубача? Но как спросить его? А вдруг с ней уже что-то случилось? Якуб только сейчас осознал, что ее возможная смерть будет совершенно необъяснима и убийца, убивший без мотива, не будет раскрыт. Так должен ли он привлекать к себе внимание? Должен ли он оставлять какие-то следы и возбуждать подозрение?

Но он тут же упрекнул себя. Имеет ли он право рассуждать так трусливо, если в опасности человеческая жизнь? Воспользовавшись перерывом между двумя номерами, он с заднего входа прошел на сцену. Доктор Шкрета радостно обернулся к нему, но он, приложив палец к губам, тихо попросил Шкрету выяснить у трубача, где сейчас может находиться медсестра, с которой тот час назад сидел в винном погребке.

— Что у вас у всех за дела с ней? — пробормотал Шкрета недовольно. Где Ружена? — крикнул он трубачу, но трубач, залившись краской, ответил, что не знает.

— Тогда ничего не поделаешь,— сказал в свое оправдание Якуб.— Продолжайте играть.

— Нравится тебе наш оркестр? — спросил его доктор Шкрета.

— Потрясающе,— сказал Якуб и, сойдя со сцены, снова сел в один из рядов. Он знал, что все время ведет себя исключительно гнусно. Если бы ему и вправду важна была ее жизнь, он должен был бы забить тревогу и поднять всех на ноги, чтобы ее тотчас нашли. Но он пошел искать ее лишь затем, чтобы оправдаться перед собственной совестью.

Вновь в памяти возникло мгновение, когда он подал ей тюбик с ядом. В самом ли деле это произошло быстрее, чем он успел осознать? В самом ли деле все произошло помимо его сознания?

Якуб знал, что это неправда. Сознание его не спало. Он снова представил себе это лицо под желтыми волосами и понял: то, что он подал ей тюбик с ядом, было вовсе не случайностью (вовсе не сном его сознания), а его давней мечтой, которая уже долгие годы ждала случая и была так вожделенна, что в конце концов сама призвала его.

Он передернулся от ужаса и вышел из ряда. Снова побежал к дому Маркса. Но Ружены там все еще не было.

16

Какая идиллия, какое отдохновение! Какой перерыв в драме! Какой упоительный день с тремя фавнами!

Обе преследующие трубача женщины, обе его напасти сидят друг против друга, обе пьют из одной бутылки вино и обе одинаково счастливы, что они здесь и что не должны хотя бы какое-то время думать о нем. Какое трогательное единение, какое взаимопонимание!

Камила смотрит на этих трех молодых людей, к кругу которых она когда-то принадлежала. Она смотрит на них, словно перед ней негатив ее сегодняшней жизни. Погруженная в заботы, она видит перед собой полную беззаботность, привязанная к единственному мужчине, она видит перед собой трех фавнов, являющих бесконечное многообразие мужского племени.

Разговоры фавнов устремлены к очевидной цели: провести с двумя женщинам ночь, ночь впятером. Цель эта иллюзорная, ибо они знают, что муж Камилы здесь, но цель эта настолько заманчива, что они устремлены к ней, несмотря на ее недосягаемость.

Камила знает, к какой они устремлены цели, и

отдается этой устремленности тем увлеченнее, что это лишь воображение, лишь игра, лишь искушение грез. Она смеется в ответ на двусмысленные речи, ободряюще шутит с незнакомой собеседницей и была бы непрочь, чтобы этот перерыв в драме длился как можно дольше, чтобы ей еще долго не пришлось видеть свою соперницу и не смотреть правде в глаза.

Еще одна бутылка вина, все веселы, все опьянены, но даже не столько вином, сколько этим странным настроением, этой жаждой продлить мгновение, которое вот-вот улетучится.

Камила чувствует, что под столом к ее ноге прижалась икра режиссера. Она вполне осознает это, но ногу не отставляет. Такое прикосновение устанавливает между ними двусмысленную кокетливую связь, но вместе с тем оно могло возникнуть и случайно и было столь малозначащим, что его не обязательно осознавать. Иными словами, это прикосновение помещено точно на грани невинного и бесстыдного. Камила не хочет перейти эту грань, но она радуется, что может задержаться на ней (на этой тонкой территории нечаянной свободы), и возрадуется еще больше, если эта волшебная линия продвинется дальше — еще к другим словесным намекам и другим

прикосновениям и играм. Хранимая двусмысленной невинностью этой передвигающейся черты, она мечтает унестись в необозримое, все дальше и дальше.

Если красота Камилы, слегка раздражающая своей ослепительностью, вынуждает режиссера вести наступление неспешно, с оглядкой, то банальное очарование Ружены позволяет оператору действовать нахрапом и прямолинейно. Он обнимает ее за талию и лапает за грудь.

Камила смотрит на это. Как давно она не видела вблизи чужие непристойные жесты! Она смотрит на мужскую ладонь, которая прикрывает грудь девушки, мнет ее, теребит и гладит сквозь платье. Она смотрит на лицо Ружены, неподвижное, чувственное, покорное, инертное. Рука гладит грудь, время сладостно ускользает, и Камила чувствует, как к ее другой ноге прижалось колено помощника режиссера.

И тогда она говорит:

— Мне хотелось бы прокутить сегодня всю ночь.

— Черт бы побрал твоего трубача! — сказал режиссер.

— Черт бы его побрал! — повторил помощник режиссера.

17

В эту минуту она узнала ее. Да, это именно то лицо, которое подруги показывали ей на фотографии! Она быстро сбросила руку оператора.

— Ты что дурака валяешь! — запротестовал он.

Он снова попытался ее обнять, но снова был отвергнут.

— Вы что себе позволяете! — прикрикнула она на него.

Режиссер и его помощник засмеялись.

— Вы это серьезно? — спросил ее помощник режиссера.

— Конечно серьезно,— ответила она строго.

Помощник режиссера, посмотрев на часы, сказал оператору:

— Сейчас ровно шесть. Перелом в ситуации возник потому, что наша приятельница каждый четный час ведет себя пристойно. Поэтому тебе придется подождать до семи.

Снова раздался смех. От унижения Ружена покрылась краской. Она была застигнута врасплох: чужая рука лежала на ее груди. Застигнута тогда, когда с ней делали все, что хотели. Застигнута своей самой главной соперницей в тот момент, когда все смеялись над ней.

Режиссер сказал оператору:

— Пожалуй, тебе надо было попросить девушку в виде исключения считать шестой час нечетным.

— Ты полагаешь, что теоретически возможно считать шесть числом нечетным?

— Да,— изрек режиссер.— Эвклид в своих знаменитых «Началах» говорит об этом буквально вот что: «При некоторых необычных и весьма таинственных обстоятельствах отдельные четные числа ведут себя как нечетные». Я считаю, что мы стоим именно перед лицом таких таинственных обстоятельств.

— Стало быть, Ружена, вы согласны с тем, чтобы мы считали этот шестой час нечетным?

Ружена молчала.

— Ты согласна? — склонился к ней оператор.

— Барышня молчит,— сказал помощник режиссера,— выходит, мы должны решить, считать ли ее молчание знаком согласия или отрицания.

— Проголосуем,— сказал режиссер.

— Правильно,— сказал его помощник.— Кто считает, что Ружена согласна с тем, что шесть в данном случае число нечетное? Камила! Ты голосуешь первая!

— Думаю, что Ружена с этим безусловно соглас-

на! — сказала Камила.

— А ты что, режиссер?

— Я убежден,— сказал режиссер своим мягким голосом,— что барышня Ружена будет считать шесть нечетным числом.

— Оператор слишком заинтересован, поэтому воздерживается от голосования. Я голосую «за»,— сказал помощник режиссера.— Таким образом, тремя голосами мы решили, что молчание Ружены означает ее согласие. Из этого следует, что ты, пан оператор, должен не мешкая снова взяться за дело… Оператор, склонившись к Ружене, обнял ее таким манером, что опять коснулся ее груди. Ружена оттолкнула его куда резче прежнего и крикнула:

— Убери свои грязные лапы!

— Ружена, разве он виноват, что вы ему так нравитесь. Мы все были в таком прекрасном настроении…— обронила Камила.

Еще за минуту до этого Ружена была абсолютно пассивна и покорялась ходу вещей — будь что будет,— словно хотела распознать свою судьбу по случайностям, происходившим с ней. Она позволила бы подчинить себя, совратить или подбить на что угодно, лишь бы только это означало выход из тупика, в котором она очутилась.

Однако случайность, к которой Ружена просительно обращала взор, неожиданно оказалась враждебной к ней, и она, униженная перед соперницей и всеми осмеянная, осознала, что у нее лишь единственная надежная опора, единственное утешение и спасение — плод во чреве своем. Вся ее душа (вновь и вновь!) опускалась вниз, вовнутрь, в глубины тела, и она утверждалась в мысли, что с тем, кто спокойно расцветает в ней, она никогда не посмеет разъединиться. В нем — ее тайный козырь, который возносит ее высоко над их смехом и грязными руками. Ей ужасно хотелось сказать им, выкрикнуть им это в лицо, отомстить им за их насмешки, а ей — за ее снисходительную любезность.

Только бы сохранить спокойствие, говорила она себе, опуская руку в сумку за тюбиком. Она вынула его, но тут же почувствовала, как чья-то рука крепко сжала ее запястье.

18

Никто не заметил, как он подошел. Он вдруг оказался здесь, и Ружена, повернув к нему голову, увидела его улыбку.

Он все еще держал ее за руку; она чувствовала тиски его пальцев и подчинилась ему: тюбик

упал обратно на дно сумки.

— Уважаемые, позвольте мне присоединиться к вам. Меня зовут Бертлеф.

Никто из присутствующих мужчин не испытал восторга от прихода незваного господина, никто не представился ему, а Ружена была не столь искушенной в светских манерах, чтобы суметь представить его другим.

— Вижу, что мое появление несколько испортило вам настроение,— сказал Бертлеф; он принес стоявший поодаль стул, поставил его на свободное место во главе стола и таким образом оказался напротив всей компании; справа от него сидела Ружена.— Извините меня,— продолжал он.— У меня уж такая странная привычка — я не прихожу, а предстаю взору.

— В таком случае разрешите нам,— сказал помощник режиссера,— считать вас всего лишь привидением и не уделять вам внимания.

— С удовольствием разрешаю вам,— сказал Бертлеф с изящным поклоном.— Однако боюсь, что при всем моем желании вам это не удастся.

Он оглянулся на освещенную дверь распивочной и похлопал в ладоши.

— Кто, собственно, вас сюда приглашал, шеф? — сказал оператор.

— Вы хотите дать мне понять, что я здесь нежелателен? Мы могли бы с Руженой тотчас уйти, но привычка есть привычка. Я всегда под вечер сажусь за этот стол и пью здесь вино.— Он посмотрел на этикетку стоявшей на столе бутылки.— Разумеется, получше того, что вы пьете сейчас.

— Хотелось бы знать, где в этом кабаке можно найти что-нибудь получше,— сказал помощник режиссера.

— Сдается мне, шеф, что вы слишком выпендриваетесь,— добавил оператор, желая высмеять незваного гостя.— В определенном возрасте, конечно, человеку ничего не остается, как выпендриваться.

— Ошибаетесь,— сказал Бертлеф, как бы пропуская мимо ушей оскорбительную реплику оператора,— в этом трактире спрятаны вина получше, чем в иных самых дорогих отелях.

В эту минуту он уже протягивал руку трактирщику, который до сих пор здесь почти не показывался, но теперь кланялся Бертлефу и спрашивал:

— Мне накрыть на всех?

— Разумеется,— ответил Бертлеф и обратился к остальным: — Дамы и господа, приглашаю вас

отведать со мной вина, вкус которого я уже не раз здесь испробовал и нашел его великолепным. Вы согласны?

Никто не ответил Бертлефу, а трактирщик сказал:

— В отношении блюд и напитков могу посоветовать уважаемому обществу полностью положиться на пана Бертлефа.

— Друг мой,— сказал Бертлеф трактирщику,— принесите две бутылки и большое блюдо с сырами.— Потом он снова обратился к присутствующим: — Ваше смущение напрасно. Друзья Ружены — мои друзья.

Из распивочной прибежал мальчик лет двенадцати, принес поднос с рюмками, тарелками и скатеркой. Поставил поднос на соседний столик и, перегибаясь через плечи гостей, стал собирать недопитые бокалы. Вместе с полупустой бутылкой перенес их на тот же столик, куда прежде поставил поднос, и салфеткой принялся старательно обметать явно нечистый стол, чтобы застелить его белоснежной скатертью. Затем, снова собрав с соседнего столика недопитые бокалы, хотел было расставить их перед гостями.

— Старые рюмки и бутылку с недопитой бурдой на стол не ставьте,— сказал Бертлеф мальчику.—

Отец принесет вино получше.

Оператор возразил:

— Шеф, не могли бы вы оказать нам любезность и разрешить нам пить то, что мы хотим?

— Как вам угодно, господа,— сказал Бертлеф.— Я против того, чтобы навязывать людям счастье. Каждый имеет право на свое скверное вино, на свою глупость и на свою грязь под ногтями. Знаете что, юноша, поставьте перед каждым гостем его прежнюю рюмку и чистый пустой бокал. Мои гости вольны будут выбрать между вином, взращенным туманами, и вином, рожденным солнцем.

И в самом деле, перед каждым гостем сразу же оказались по две рюмки, одна пустая, другая с недопитым вином. К столу подошел трактирщик с двумя бутылками, одну из них он зажал между колен и мощным рывком вытащил пробку. Затем немного вина налил в бокал Бертлефа. Бертлеф поднес бокал ко рту, попробовал и обратился к трактирщику:

— Отличное. Урожая двадцать третьего года?

— Двадцать второго,— сказал трактирщик.

— Наливайте,— сказал Бертлеф, и трактирщик, обойдя с бутылкой стол, наполнил все пустые бокалы.

Бертлеф поднял бокал:

— Друзья мои, отведайте этого вина. У него вкус прошлого. Отведайте его, и пусть вам покажется, будто вы высасываете из длинной мозговой кости одно давно забытое лето. Я хотел бы с помощью тоста соединить прошлое с настоящим, и солнце двадцать второго года с солнцем этой минуты. И солнце это — Ружена, простая девушка, даже не ведающая, что она королева. Она сияет на фоне этого курорта, словно драгоценный камень на платье нищего. Она здесь словно луна на блеклом дневном небосводе. Она здесь словно бабочка, порхающая на снегу.

Оператор с трудом заставил себя рассмеяться:

— Не перехлестываете ли вы, шеф?

— Нет, не перехлестываю,— сказал Бертлеф и повернулся к оператору. Это кажется только вам, потому что вы всегда живете ниже уровня всего сущего, вы горькая трава, вы антропоморфный уксус! Вы полны кислот, которые булькают в вас, точно в сосуде алхимика! Вы отдали бы жизнь за то, чтобы обнаружить вокруг себя мерзость, какую носите внутри себя! Только так вы можете ненадолго почувствовать какое-то согласие между собой и миром. Ибо мир, который прекрасен, страшен для вас, он мучит вас и постоянно ис-

торгает вас из своей среды. До чего невыносимо: грязь под ногтями и красивая женщина рядом! А потому сначала надо облить женщину грязью, а уж потом радоваться ее присутствию. Это так, господа! Я рад, что вы прячете руки под стол, вероятно, я был прав, когда говорил о ваших ногтях.

— А я кладу на ваше пижонство, я же не шут вроде вас, при белом воротничке и галстуке,— отрубил оператор.

— Ваши грязные ногти и рваный свитер не являют собою ничего нового под солнцем,— сказал Бертлеф.— Когда-то очень давно один кинический философ хвастливо прогуливался по Афинам в рваном плаще, стремясь вызвать у всех восхищение своим равнодушием к условностям. Сократ, встретив его, сказал: «Сквозь дыру в твоем плаще я вижу твое тщеславие». И ваша грязь, господа, самодовольна, а ваше самодовольство грязно.

Ружена не могла опомниться от дурманящей неожиданности. Человек, которого она знала лишь мельком как пациента, пришел к ней на помощь, словно упал с небес. Она была околдована изысканной естественностью его поведения и той жесткой уверенностью, с какой он сразил дерзость оператора.

— Я вижу, вы утратили дар речи,— сказал Бертлеф оператору после недолгой паузы,— но поверьте, я вовсе не хотел вас оскорбить. Я почитатель спокойствия, а не распрей, и ежели меня слишком увлекло красноречие, прошу извинения. Я хочу лишь, чтобы вы испробовали это вино и выпили со мной за Ружену, ради которой я и пришел сюда.

Бертлеф снова поднял бокал, но никто не присоединился к нему.

— Пан трактирщик,— сказал Бертлеф,— выпейте же вы с нами!

— Такое вино я завсегда готов,— сказал трактирщик, взял с соседнего стола пустой бокал и наполнил его.— Пан Бертлеф толк в винах знает. Он уж давненько учуял мой подвал, точно ласточка, что чует свое гнездо издали.

Бертлеф рассмеялся довольным смехом польщенного человека.

— Так выпьете с нами за Ружену? — сказал он.

— За Ружену? — спросил трактирщик.

— Да, за Ружену! — Бертлеф взглядом указал на свою соседку.— Надеюсь, она нравится вам так же, как и мне?

— С вами, пан Бертлеф, бывают только красивые женщины. Мне и глядеть не надо на

барышню: раз сидит рядом с вами — значит, точно красивая.

Бертлеф снова рассмеялся довольным смехом, трактирщик смеялся вместе с ним, и, к удивлению всех, присоединилась к ним и Камила, которую с самого начала забавлял приход Бертлефа. Этот смех был неожиданным, но при этом странно и необъяснимо заразительным. К Камиле из галантной солидарности присоединился и режиссер, к режиссеру — его помощник и, наконец, даже Ружена, нырнувшая в этот многоголосый смех, будто в блаженное объятие. За весь этот день она рассмеялась впервые. Первая разрядка, первый вздох облегчения. Она смеялась громче всех и не могла насытиться этим смехом.

Бертлеф все еще держал бокал поднятым:

— За Ружену!

Поднял бокал и трактирщик, подняла бокал и Камила, и режиссер, и его помощник, и все повторяли вслед за Бертлефом:

— За Ружену!

Оператор и тот поднял свой бокал и, не говоря ни слова, выпил.

Режиссер отхлебнул глоток и сказал:

— А это вино и вправду знатное!

— Я же говорил вам! — смеялся трактирщик.

Между тем мальчик поставил на стол большое блюдо с сырами, и Бертлеф сказал:

— Угощайтесь, сыры отменные!

— Скажите на милость,— удивился режиссер,— откуда здесь такой выбор сыров, мне кажется, что я во Франции.

И тут вдруг напряжение как рукой сняло, настроение поднялось, все разговорились, стали накладывать на свои тарелки сыры, удивляясь, откуда у трактирщика такой выбор (в стране, где так скудно с сырами), и подливать себе вина.

И когда все уже были на верху блаженства, Бертлеф встал и отвесил поклон:

— Мне было очень приятно в вашем обществе, благодарю вас. У моего друга доктора Шкреты сегодня вечером концерт, и мы с Руженой хотим послушать его.

19

Ружена с Бертлефом исчезли в легкой пелене опускавшихся сумерек, и первоначальное вдохновение, уносившее компанию за столом к воображаемому острову распутства, безвозвратно улетучилось. Всеми овладело уныние.

Камила чувствовала себя так, будто очнулась от сна, в который хотела быть все еще погруженной.

Мелькнула мысль, что ей вовсе незачем идти на концерт. Что для нее самой было бы фантастическим сюрпризом вдруг сейчас обнаружить, что приехала она сюда не ради того, чтобы выслеживать мужа, а чтобы пережить авантюру. Что было бы прекрасно остаться с тремя киношниками до утра и затем тайно уехать домой. Что-то подсказывало ей, что именно так она и должна поступить; что это был бы правильный шаг; освобождение; оздоровление и пробуждение от колдовства.

Но она была уже слишком трезва. Все чары исчезли. Она была уже сама с собой, со своим прошлым, со своей тяжелой головой, набитой прежними трезвыми мыслями. Она была бы счастлива продлить этот короткий сон хоть на несколько часов, но она знала, что этот сон, поблекнув, уже рассеивается, как утренний туман.

— Мне тоже надо идти,— сказала она.

Они пытались уговорить ее остаться, но понимали, что у них уже нет в достатке ни уверенности в себе, ни сил удержать ее.

— Мать его за ногу,— сказал оператор,— что это был за мужик?

Они хотели было расспросить о нем трактирщика, но с той минуты, как Бертлеф удалился, на

них опять никто не обращал внимания. Из распивочной доносился гвалт подвыпивших гостей, а они сидели здесь покинутые у недопитого вина и недоеденных сыров.

— Кто бы он ни был, но он испортил нам пирушку. Одну даму увел, а вторая бросает нас сама. Давайте проводим Камилу.

— Нет,— сказала Камила.— Останьтесь. Я пойду туда одна.

Она была уже не с ними. Ей уже мешало их присутствие. Ревность пришла за ней, точно смерть. Камила была теперь только в ее власти, и кроме ревности для нее ничего больше не существовало. Она встала и пошла в ту сторону, в какую минутой раньше ушли Бертлеф с Руженой. Издали до нее еще донеслось, как оператор сказал:

— Мать его за ногу…

20

Перед началом концерта Якуб и Ольга прошли в артистическую позади сцены, чтобы пожать доктору Шкрете руку, затем спустились в зал. Ольга намеревалась после перерыва уйти, чтобы оставшийся вечер провести наедине с Якубом. Якуб считал, что это рассердит друга, но Ольга твердила, что он и не заметит их преждевремен-

ного ухода.

Зал был почти полон, в их ряду было всего лишь два свободных места.

— Эта женщина сегодня преследует меня, как тень,— наклонившись к Якубу, сказала Ольга, когда они усаживались.

Якуб, оглянувшись, увидел, что рядом с Ольгой сидит Бертлеф, а возле него медсестра, у которой в сумке был яд. На мгновение у него замерло сердце, но наученный за всю свою жизнь скрывать то, что творится в душе, он сказал совершенно спокойно:

— Ну-ну, мы оказались в ряду контрамарок, которые Шкрета раздал своим знакомым. Стало быть, он знает, в каком ряду мы сидим, и заметит, если уйдем.

— Скажешь ему, что впереди плохая акустика и потому после перерыва мы пересели в задний ряд,— сказала Ольга.

Тут на сцену поднялся Клима с золотой трубой в руке, и зал зааплодировал. Когда за ним вышел доктор Шкрета, аплодисменты еще усилились и по залу прокатилась волна оглушительного шума. Доктор Шкрета скромно стоял позади трубача, давая понять неловким движением руки, что главная фигура концерта, конечно, гость из

столицы. Публика чутко восприняла весьма трогательную неловкость жеста и ответила на нее еще более бурными аплодисментами. Откуда-то сзади донеслось:

— Да здравствует доктор Шкрета!

Пианист, самый неприметный из всех троих и привлекающий к себе наименьшее внимание публики, опустился на стульчик у рояля, Шкрета подсел к импозантной ударной установке, а трубач легким ритмичным шагом стал похаживать от пианиста к Шкрете и обратно.

Аплодисменты стихли, пианист ударил по клавишам, начав свое сольное вступление, но Якуб заметил, что его друг чем-то обеспокоен и растерянно оглядывается. Трубач, также заметив озабоченность доктора, подошел к нему. Шкрета что-то шепнул трубачу, и они оба нагнулись к полу. С минуту внимательно осматривали его, а потом трубач поднял палочку, упавшую к ногам пианиста, и протянул ее Шкрете.

Публика, внимательно следившая за сценой, разразилась новым взрывом аплодисментов, и пианист, сочтя их похвалой своему вступлению, продолжал играть и при этом с благодарностью кланяться.

Ольга, схватив Якуба за руку, прошептала:

— Чудесно! Настолько чудесно, что мне кажется, с этого момента кончается мое сегодняшнее невезение!

Наконец в звуки рояля вплелись труба и барабан. Клима трубил, неустанно передвигаясь мелкими ритмичными шажками, а доктор Шкрета восседал за своими барабанами, как величественный невозмутимый Будда.

И Якуб представил себе: в то время как доктор Шкрета на сцене бьет в барабаны, и публика хлопает и кричит, медсестра вдруг вспоминает о лекарстве, проглатывает таблетку, корчится в судорогах и замертво падает на стул.

И тут ему стало ясно, почему эта девушка получила билет в тот же ряд, что и он: эта сегодняшняя случайная встреча в винном погребке была искушением, испытанием. Произошла она лишь затем, чтобы он, как в зеркале, увидел свой образ — образ того, кто подает ближнему яд. Но тот, кто его испытывает (Бог, в которого он не верит), не алчет ни кровавой жертвы, ни крови невинных. Испытание должно завершиться не смертью, а лишь его, Якуба, самопознанием, которое избавит его от недозволенной нравственной гордыни. И сейчас медсестра сидит в одном ряду с ним именно затем, чтобы он мог еще в последнюю

минуту спасти ее. И именно потому рядом с ней человек, с которым он вчера подружился и который поможет ему.

Да, он дождется первой же возможности, скорее всего паузы между двумя номерами, и обратится к Бертлефу с просьбой выйти втроем в коридор. Там он как-то объяснит все, и это невообразимое безумие кончится.

Музыканты доиграли первую композицию, раздались аплодисменты, медсестра сказала «извините» и в сопровождении Бертлефа стала выбираться из ряда. Якуб хотел было встать и идти за ними, но Ольга удержала его за руку:

— Нет, пожалуйста, не сейчас. Подожди до перерыва.

Все произошло быстрее, чем он успел осознать. Музыканты играли уже следующую композицию, и Якуб понял, что тот, кто испытывает его, посадил Ружену рядом с ним вовсе не для того, чтобы спасти его, Якуба, совесть, а чтобы вне всяких сомнений подтвердить его проигрыш и его осуждение.

Трубач продолжал дуть в трубу, доктор Шкрета возвышался, словно великий Будда барабанов, а Якуб сидел и не двигался с места. В эти минуты он не видел ни трубача, ни доктора Шкрету, он

видел лишь одного себя, как он сидит и не двигается с места, и от этого чудовищного образа он не мог оторвать взор.

21

Когда Клима услыхал громкий звук своей любимой трубы, ему показалось, что это только он один звучит и заполняет все пространство зала. Он чувствовал себя непобедимым и сильным. Ружена сидела в почетном ряду обладателей контрамарок рядом с Бертлефом (даже в этом он усматривал случайный добрый знак), и вся атмосфера вечера была пленительной. Публика слушала с удовольствием, в отличном настроении, мягко нашептывавшем ему, что все хорошо кончится. Когда раздались первые аплодисменты, Клима изящным жестом указал на доктора Шкрету, ставшего ему в этот вечер невесть почему милым и близким. Доктор, восседая за барабанами, поклонился.

Однако, посмотрев в зал во время второй композиции, он вдруг обнаружил, что стул, на котором сидела Ружена, пуст. Это испугало его. С этой минуты он играл неспокойно, обшаривал глазами весь зал, стул за стулом, проверял каждое место, но не находил ее. Мелькнула мысль, что она ушла

преднамеренно, чтобы избежать его дальнейших уговоров и не пойти на комиссию. Где искать ее после концерта? И что, если он даже найдет ее?

Он чувствовал, что играет плохо, механически, думая совсем о другом. Но публика, не способная распознать дурное настроение трубача, была довольна, и с каждой новой композицией овации усиливались.

Он успокаивал себя тем, что она, возможно, ушла в туалет. Ей стало плохо, как это часто бывает во время беременности. Когда ее отсутствие затянулось чуть ли не на полчаса, он решил, что она для чего-то вернулась домой, а потом снова появится на своем стуле. Но кончился перерыв, концерт шел к завершению, а ее стул был по-прежнему пуст. Может, она не решается войти в зал посреди концерта? И появится лишь с последними аплодисментами?

Но вот уже раздались последние аплодисменты, а Ружена не появлялась; Клима чувствовал, что силы покидают его. Публика повскакивала со своих мест и кричала бис. Повернувшись к доктору Шкрете, Клима покачал головой в знак того, что играть больше не хочет. Но он натолкнулся на два горящих глаза, жаждавших одного: барабанить, барабанить и барабанить, хоть всю

ночь напролет.

Публика, посчитав отказ Климы бисировать лишь неотъемлемым кокетством звезды, стала аплодировать еще громче. Но тут к сцене протиснулась молодая красивая женщина, и Клима, увидев ее, почувствовал, что вот-вот рухнет, потеряет сознание и уже никогда не придет в себя.

Улыбаясь ему, она говорила (ее голоса он не слышал, но прочел слова по губам):

— Ну сыграй! Сыграй еще!

Клима поднял трубу в знак того, что будет играть. Публика разом стихла.

Оба музыканта, просияв, стали повторять последнюю композицию. А Климе было так, словно он играл в похоронном оркестре, шагая за собственным гробом. Он играл, зная, что все потеряно, что теперь ему остается лишь закрыть глаза, сложить руки и позволить судьбе переехать его своими колесами.

22

На столике в апартаментах Бертлефа стояло несколько бутылок, украшенных изысканными этикетками с иностранными названиями. Ружена была несведущей в дорогих напитках и попросила виски лишь потому, что ничего друго-

го не смогла бы назвать.

Ее мысль между тем стремилась проникнуть сквозь пелену опьянения и разобраться в ситуации. Несколько раз она спросила его, как он сегодня разыскал ее, хотя, по сути, они даже не знакомы.

— Я хочу это знать,— повторяла она,— хочу знать, почему вы вспомнили обо мне.

— Я хотел сделать это уже давно,— ответил Бертлеф, не переставая глядеть ей в глаза.

— Но почему вы сделали это именно сегодня?

— Потому что всему свое время. И друг пришел сегодня.

Слова эти звучали загадочно, но Ружена чувствовала, что они искренни. Ее положение сегодня стало и вправду столь невыносимо безысходным, что должно было что-то произойти.

— Да,— задумчиво сказала она,— сегодня был особенный день.

— Вы же сами знаете, что я пришел вовремя,— сказал Бертлеф бархатным голосом.

Ружену охватило неясное и бесконечно сладкое чувство облегчения: если Бертлеф появился именно сегодня, значит, все, что происходит, предрешено кем-то, и она может свободно вздохнуть и отдаться этой высшей силе.

— Да, вы пришли и впрямь вовремя,— сказала она.

— Я знаю.

И все-таки здесь было что-то, чего она не понимала:

— Но почему? Почему вы пришли ко мне?

— Потому что я люблю вас.

Слово «люблю» прозвучало совсем тихо, но комната внезапно наполнилась им. И ее голос стал тихим:

— Вы меня любите?

— Да, я люблю вас.

И Франтишек и Клима уже говорили ей это слово, но только сегодня она осознала его таким, каково оно на самом деле, когда приходит нежданно-негаданно и совсем обнаженным. Оно вошло сюда, словно чудо. Оно было совершенно необъяснимым, но казалось ей тем реальнее, ибо основные вещи на свете существуют вне всяких объяснений и поводов — они сами себе причина.

— Правда? — спросила она. И ее голос, обычно слишком громкий, сейчас звучал шепотом.

— Правда.

— Я ведь совершенно обыкновенная девушка.

— Нет, вы необыкновенная.

— Обыкновенная.

— Вы красивая.
— Нет, некрасивая.
— Вы нежная.
— Нет,— качала она головой.
— От вас исходит ласка и доброта.
— Нет, нет, нет,— качала она головой.
— Я знаю, какая вы. Я знаю это лучше вас.
— Вы ничего не знаете.
— Знаю.

Доверие, излучаемое глазами Бертлефа, было точно чудодейственная купель, и Ружена мечтала только о том, чтобы этот взгляд омывал ее и ласкал как можно дольше.

— Я правда такая?
— Правда. Я это знаю.

Это было прекрасно до головокружения: она чувствовала, что в его глазах она была тонкой, нежной, чистой: она чувствовала себя благородной, как королева. Вдруг ощутила себя будто сотканной из меда и душистых трав. Она стала для самой себя до влюбленности приятной. (Боже, ведь с ней никогда не случалось такого: быть для самой себя так сладостно приятной!)

— Но вы же правда меня не знаете,— неустанно повторяла она.

— Я знаю вас давно. Я давно смотрю на вас, но

вы о том и не ведаете. Я знаю вас наизусть,— говорил он, пальцами касаясь ее лица.— Ваш нос, вашу улыбку, едва обозначенную, ваши волосы…

А потом он начал расстегивать ей платье, она не сопротивлялась, только смотрела в его глаза, завороженная взглядом, который обступал ее как вода, сладкая вода. Она сидела против него с обнаженной грудью, наливавшейся под его взором, и жаждала, чтобы он смотрел на нее и осыпал восторгами. Все ее тело повернулось к его глазам, как подсолнух к солнцу.

23

Они сидели в комнате Якуба, Ольга что-то рассказывала, а Якуб убеждал себя, что пока есть еще время. Он может еще раз пойти в дом Маркса и, если девушки там не застанет, побеспокоить Бертлефа в соседних апартаментах и спросить о ней.

Ольга рассказывала что-то, а он мысленно переживал тягостную сцену: запинаясь, он что-то объясняет сестре, чем-то оправдывается, извиняется и старается выманить у нее таблетку. Но потом, словно устав от своего воображения, которым мучился вот уже несколько часов, вдруг почувствовал, как им овладевает необоримое

равнодушие.

Но его равнодушие не было плодом усталости, оно было осознанным и воинственным. Якуб осознал, что ему совершенно безразлично, будет ли жить это существо с желтыми волосами, и что стремление спасти его было бы не более чем лицемерием и недостойной комедией. Что этим, собственно, он обманывал бы того, кто его испытывает. Ибо тот, кто его испытывает (Бог, который не существует), хочет узнать, каков Якуб на самом деле, а не каким притворяется. И Якуб решил быть перед ним честным; быть тем, кем он есть на самом деле.

Они сидели в креслах друг против друга, между ними был маленький столик. И Якуб видел, как Ольга наклоняется к нему через столик, и слышал ее голос:

— Я хотела бы поцеловать тебя. Возможно ли, мы так давно знаем друг друга и еще ни разу не поцеловались?

24

На лице у Камилы, пробравшейся к мужу в артистическую, была напряженная улыбка, на душе — тревога. Она ужасалась при мысли, что придется взглянуть в реальное лицо его любов-

ницы. Но никакой любовницы там не было. Хотя там и сновало несколько девушек, клянчивших у Климы автограф, она поняла (глаз у нее был наметанный), что ни одна из них не знает его лично.

И все-таки она была уверена, что любовница наверняка где-то здесь. Она определила это по лицу Климы, бледному и растерянному. Он улыбался своей жене так же неестественно, как и она — ему.

С поклонами представились ей доктор Шкрета, аптекарь и еще несколько человек, по всей вероятности врачей и их жен. Кто-то предложил пойти в единственный местный ночной бар, расположенный напротив. Клима стал возражать, ссылаясь на усталость. У пани Климовой мелькнула мысль, что любовница ждет в баре, и потому Клима отказывается идти туда. Но поскольку несчастье притягивало ее как магнит, она попросила его доставить ей удовольствие и перебороть усталость.

Однако и в баре не было женщины, какую она могла бы заподозрить в связи с ним. Они сели за большой стол. Доктор Шкрета был многословен и расточал Климе комплименты. Аптекарь был полон робкого счастья, не склонного высказываться. Пани Климова старалась быть оживленно

говорливой и общительной.

— Пан доктор, вы меня потрясли,— говорила она Шкрете,— и вы тоже, пан аптекарь. И вся атмосфера была искренней, веселой, беззаботной, в тысячу раз лучше, чем на концертах в столице.

Даже не глядя на мужа, она ни на миг не переставала следить за ним. Она чувствовала, с каким величайшим напряжением он скрывает свою нервозность и изредка старается вставить словечко, чтобы незаметно было, что он думает совсем о другом. Ей было ясно, что она в чем-то помешала ему, причем в чем-то значительном. Если бы дело касалось обычной авантюры (Клима постоянно клялся ей, что не способен влюбиться ни в одну женщину), он не впал бы в такую глубокую ипохондрию. И даже не увидев его любовницы, она не сомневалась, что видит его влюбленность (влюбленность мучительную и отчаянную), и это зрелище было для нее еще более невыносимым.

— Что с вами, пан Клима? — неожиданно спросил аптекарь, который был чем скромнее, тем любезнее и внимательнее.

— Ничего, ничего, я в полном порядке,— испугался Клима.— Голова немного болит.

— Не угодно ли таблетку?

— Нет, нет,— покачал головой трубач.— Но

простите меня, если мы все-таки покинем вас чуть раньше. Я в самом деле ужасно устал.

25

Как получилось, что у нее наконец хватило смелости?

Уже в ту минуту, как она подсела к Якубу в винном погребке, он показался ей не таким, как обычно. Был замкнут, хотя и приветлив, рассеян, хотя и уступчиво послушен, его мысли где-то витали, хотя он и исполнял все ее желания. Именно его рассеянность (она приписывала ее его скорому отъезду) была ей приятна: она бросала слова в его отсутствующее лицо, словно стремила их в такую даль, где ее было не слышно. Поэтому она могла говорить то, чего не говорила ему никогда.

Сейчас, когда она предложила ему поцеловаться, ей показалось, что она встревожила его и напугала. Но и это не остановило ее, напротив, это было ей тоже приятно: наконец-то она почувствовала себя той смелой и вызывающей женщиной, какой всегда мечтала быть, женщиной, что владеет ситуацией, придает ей нужное направление, с интересом наблюдает за партнером и повергает его в смущение.

Неотрывно глядя ему в глаза, она с улыбкой

сказала:

— Но не здесь. Было бы смешно целоваться, перегибаясь через стол. Пойдем.

Она подала ему руку, подвела к дивану, наслаждаясь изобретательностью, элегантностью и спокойной самостоятельностью своих действий. Целуя его, она проявила страстность, какая до сих пор была ей неведома. Однако это была не спонтанно возникшая страстность тела, с которой нельзя совладать, это была страстность мозга, страстность сознательная и нарочитая. Она жаждала сорвать с Якуба одеяние его отцовской роли, жаждала шокировать его и при этом возбудить себя видом его смущения, жаждала изнасиловать его, наблюдая при этом, как она насилует его, жаждала узнать, каков вкус его языка, и почувствовать, как его отцовские руки постепенно осмеливаются покрывать ее ласками.

Она расстегнула пуговицу у него на пиджаке и сама сняла его.

26

В течение всего концерта он не сводил с него глаз, а потом замешался среди поклонников, поваливших за кулисы, чтобы попросить артистов нацарапать им на память автографы. Но Руже-

ны там не было. Потом он наблюдал за группой людей, что повели трубача в местный бар. Он вошел с ними внутрь, убежденный, что Ружена уже ждет там трубача. Но он ошибся. Он снова вернулся на улицу и долго подстерегал ее перед входом.

Внезапно его пронизала боль. Из бара вышел трубач, а к нему прижималась женская фигура. Он было решил, что это Ружена, но это была не она.

Он провожал их до самого Ричмонда, за дверьми которого эта пара исчезла.

Через парк он быстро устремился к дому Маркса. Вошел и спросил привратника, дома ли Ружена. Ее не было.

Он побежал назад к Ричмонду, опасаясь, что Ружена тем временем уже прошла к Климе в комнату. Стал прохаживаться по аллее парка, не отрывая глаз от входа. Он не понимал, что происходит. В голове проносилось множество домыслов, но все они не имели значения. Значение имело лишь то, что он стоит здесь на страже и что будет стоять на страже до тех пор, пока кого-то из них не увидит.

Почему? Имело ли это смысл? Не лучше ли было пойти домой и лечь спать?

Он уверял себя, что должен наконец узнать всю правду.

Но в самом ли деле он хотел узнать правду? В самом ли деле он уж так хотел убедиться, что Ружена спит с Климой? Не хотел ли он скорее дождаться какого-то доказательства ее невиновности? Но разве он при своей подозрительности поверил бы тому или иному доказательству?

Он не знал, почему он ждет. Он знал лишь, что ждать будет здесь долго, хоть всю ночь, хоть много ночей. Ибо для того, кто ревнует, время летит невероятно быстро. Ревность заполняет мозг до предела, как никакой умственный труд. В голове не остается ни секунды свободного времени. Кто ревнует, тому не ведома скука.

Франтишек ходил по короткому отрезку дороги длиной не более сотни метров, откуда видно было парадное Ричмонда. Так он будет ходить всю ночь, когда все уже уснут, так он будет ходить до утра следующего дня.

Но почему он хотя бы не сядет? Напротив Ричмонда есть же скамейки!

Сесть он не может. Ревность точно сильная зубная боль. При ней ничего нельзя делать, сидеть и то невозможно. Можно только ходить. Взад и вперед.

27

Они шли тем же путем, что и Бертлеф с Руженой и Якуб с Ольгой: по лестнице на второй этаж, а затем по красному плюшевому ковру в конец коридора, завершавшегося большими дверями в апартаменты Бертлефа. Справа от них была дверь к Якубу, слева — комната, которую доктор Шкрета снял для Климы.

Когда он открыл дверь и включил свет, то заметил быстрый, пытливый взгляд, которым Камила окинула комнату: он знал, что она ищет здесь следы женщины. Ему знаком был этот взгляд. Он знал о ней все. Знал, что нежность, с какой она обращается к нему, неискренна. Знал, что она приехала шпионить за ним, и знал, что будет делать вид, будто приехала утешить его. Знал он и то, что она прекрасно видит его подавленность и убеждена, что расстроила какие-то его любовные планы.

— Дорогой, тебя правда не огорчает, что я приехала? — сказала она.

И он:

— А как это может меня огорчать?

— Я боялась, что тебе будет грустно.

— Да, без тебя мне было бы здесь грустно. Я

обрадовался, когда увидел, как ты аплодируешь у сцены.

— Ты какой-то усталый. Может, что-то гнетет тебя?

— Нет, нет, ничего не гнетет. Я просто устал.

— Ты грустный потому, что был здесь среди одних мужчин, и это тебя подавляет. Но сейчас ты с красивой женщиной. Разве я не красивая женщина?

— Конечно красивая,— сказал Клима, и это были первые искренние слова, произнесенные за весь день. Камила была божественно хороша, и Клима чувствовал безмерную боль, что этой красоте грозит смертельная опасность. Но сейчас эта красота, улыбаясь ему, начала раздеваться. Он смотрел на ее обнажавшееся тело, словно прощался с ним. Грудь, эта прекрасная грудь, чистая и девственная, тонкая талия, чресла, с которых только что соскользнули трусики. Он смотрел на нее горестно, как на воспоминание. Как сквозь стекло. Как в неоглядную даль. Ее красота была такой далекой, что он не испытывал ни малейшего возбуждения. И все-таки он впивался в нее вожделенным взором. Он пил эту наготу, будто осужденный на казнь пьет свою последнюю чашу. Он пил эту наготу, как пьем мы утраченное

прошлое и утраченную жизнь.

Камила подошла к нему:

— Ну что? Ты будешь в костюме?

Ничего не оставалось, как раздеться, и было ему бесконечно грустно.

— Ты не смеешь чувствовать себя усталым, раз я к тебе приехала. Я хочу тебя.

Он знал, что это неправда. Он знал, что у Камилы нет ни малейшего желания отдаваться любви и что она принудила себя к этим вызывающим действиям лишь потому, что видит его печаль и приписывает ее страсти к другой женщине. Он знал (Боже, как он знал ее!), что своим любовным призывом она жаждет проверить, сколь глубоко захвачен он мыслями о другой, и затем терзать себя его печалью.

— Я в самом деле устал,— сказал он.

Она обняла его и подвела к кровати.

— Увидишь, как я вылечу тебя от усталости,— сказала она и начала играть с его обнаженным телом.

Он лежал, словно на операционном столе. Он знал, что всякое усилие жены будет напрасным. Его тело съеживалось, отступая внутрь себя и не обнаруживая ни следа возбуждения. Камила влажными губами скользила по его телу, и он

знал, что она горит желанием мучить себя и его, и ненавидел ее. Он ненавидел ее всей безмерностью своей любви: она одна своей ревностью, своей слежкой, своим недоверием, лишь она одна своим сегодняшним приездом добилась того, что все потеряно, что их союз заминирован зарядом, подложенным в чужое чрево, зарядом, который через семь месяцев взорвется и разнесет все вокруг. Лишь она своим безотчетным страхом за их любовь разрушила все.

Она коснулась губами его межножья, и он почувствовал, как его скипетр под ее ласками съеживается, как ускользает от нее, как становится все меньше и боязливее. И он знал, что Камила в нежелании его тела видит безмерность его любви к другой женщине. Он знал, что она страшно страдает и чем больше страдает сама, тем больше будет терзать его и скользить влажными губами по его беспомощному телу.

28

Меньше всего в жизни он хотел заниматься любовью с этой девушкой. Он мечтал приносить ей радость и изливать на нее всю свою доброту, но эта доброта не только не должна была иметь ничего общего с любовным влечением, а прямо-

таки исключала его, желая оставаться чистой, бескорыстной и не связанной ни с каким удовольствием.

Но что сейчас ему было делать? Ради незапятнанности своей доброты отказать Ольге? Нет, это невозможно. Его отказ ранил бы Ольгу и, верно, надолго оставил бы след в ее душе. Он понимал, что чашу доброты он должен испить до самого дна.

И вот она уже стояла перед ним нагая, и он лишь убеждал себя, что ее лицо благородно и мило. Но как мало значило это утешение, когда он смотрел на ее лицо вместе с телом, походившим на длинный и тонкий стебель, на который посажен непомерно большой волосатый цветок.

Впрочем, какой бы ни была Ольга, Якуб знал, что выхода нет. Он чувствовал, что его тело (это рабское тело) вновь изготовилось поднять свое услужливое копье. Ему, правда, казалось, будто его возбуждение разыгрывается в ком-то другом, далеко, вне его души, будто он возбудился помимо воли и втайне презирает это возбуждение. Его душа, далекая от его тела, терзалась мыслью о яде в чужой сумке и лишь с сожалением отмечала, сколь слепо и безоглядно отдается тело своим ничтожным прихотям.

И в голове пронеслось мгновенное воспоминание: ему было лет десять, когда он узнал, как рождаются дети, и с той поры этот образ преследовал его тем навязчивее, чем подробнее с годами он постигал конкретную сущность женской плоти. Он потом часто представлял свое рождение; представлял, как его тельце проходит по тесному влажному тоннелю, как его рот и нос забиты удивительной слизью, как весь он измазан и отмечен ею. Да, эта женская слизь отметила его, чтобы затем пожизненно обладать над ним таинственной властью, чтобы иметь право притягивать его к себе в любую минуту и управлять диковинными механизмами его тела. К такому рабству он всегда испытывал неприязнь и противился ему хотя бы тем, что не отдавал своей души женщинам, что сохранял свою свободу и одиночество, отводя власти слизи лишь ограниченные часы своей жизни. Да, возможно, потому он так и любил Ольгу, что она была для него за гранью секса; он был уверен, что своим телом она никогда не напомнит ему о постыдном способе его рождения.

Он с усилием отогнал эти мысли; ситуация на диване развивалась так, что он с минуты на минуту должен был проникнуть в ее тело, но мысли

о гадком мешали ему. Он сказал себе: эта открывающаяся ему женщина единственная в его жизни, к кому его влечет чистое и бескорыстное чувство, и сейчас он займется с нею любовью только ради того, чтобы осчастливить ее и одарить радостью, помочь ей стать уверенной в себе и веселой.

А потом он изумился самому себе: он качался на ней, словно на волнах доброты. Он чувствовал себя счастливым, ему было хорошо. Его душа покорно согласилась с действиями его тела, словно любовный акт был не чем иным, как телесным проявлением благодетельной любви, чистого чувства к ближнему. Тут уж ничего не мешало, тут ничего не звучало фальшиво. Они сплелись друг с другом в тесном объятии, и их дыхание сливалось воедино.

Это были прекрасные и долгие минуты, а потом Ольга шепнула ему на ухо скабрезное слово. Она прошептала его раз, другой, а потом снова и снова, возбуждаясь сама этим словом.

И тут вдруг волны доброты расступились, и Якуб с девушкой оказался посреди пустыни.

Нет, случалось, отдаваясь любви, он не противился скабрезностям. Они будили в нем чувственность и жесткость. Так женщины становились приятно чужими его душе и приятно

желанными его телу.

Но скабрезное слово в устах Ольги вмиг разрушило всю сладостную иллюзию. Оно пробудило его ото сна. Облако доброты рассеялось, и он вдруг обнаружил в своих объятиях Ольгу такой, какой за минуту до этого видел: с большим цветком головы, под которым дрожит тонкий стебель тела. Это трогательное существо вело себя вызывающе, точно потаскушка, но не переставало при этом быть трогательным, и потому скабрезные слова звучали комично и печально.

Но Якуб знал, что ничем не смеет обнаружить это, что должен выдержать, испить горькую чашу доброты до дна, поскольку это бессмысленное объятие — его единственный добрый поступок, его единственное искупление (его ни на минуту не оставляла мысль о яде в чужой сумке), его единственное спасение.

29

Словно большая жемчужина в двух створках раковины, роскошные апартаменты Бертлефа зажаты с обеих сторон менее роскошными комнатами, в которых живут Якуб и Клима. Но в обеих крайних комнатах уже давно тишина и покой, тогда как Ружена в объятиях Бертлефа

простанывает свой последний оргазм.

А потом она тихо лежит рядом с ним, и он гладит ее по лицу. Минуту спустя она начинает рыдать. Плачет долго, уткнувшись головой в его грудь.

Бертлеф гладит ее, как маленькую девочку, и она в самом деле чувствует себя маленькой. Маленькой, как никогда прежде (она никогда так не пряталась на чьей-то груди), но и большой, как никогда прежде (она никогда не испытывала стольких оргазмов, как сегодня). И плач порывистыми всхлипами возносит ее к чувству блаженства, какого она также до сих пор еще не познала.

Где сейчас Клима и где Франтишек? Они где-то в далеких туманах, их фигуры, удаляющиеся к горизонту, легче пуха. И где же ее упорное желание завладеть одним и избавиться от другого? Где ее судорожные приступы злости, ее оскорбленное молчание, в какое она сегодня с утра замкнулась?

Она лежит, все еще всхлипывая, а он гладит ее по лицу и говорит, что ей надо уснуть, что в соседней комнате у него своя спальня. И Ружена, открыв глаза, смотрит на Бертлефа: нагой, он идет в ванную (слышно, как течет вода), потом

возвращается, открывает шкаф, вынимает оттуда одеяло и нежно прикрывает ее тело.

Ружена видит на его икрах варикозные вены. Когда он наклонялся к ней, она заметила, что его волнистые с проседью волосы поредели и сквозь них просвечивает кожа. Да, Бертлефу шестьдесят, а то и шестьдесят пять, но для Ружены это не имеет значения. Напротив, его возраст успокаивает ее, его возраст бросает ослепительный свет на ее молодость, до сих пор серую и невыразительную, и потому она чувствует себя полной жизни и почти в самом начале пути. Сейчас в его присутствии она вдруг понимает, что еще долго будет молодой и ей никуда не надо спешить. Бертлеф снова подсаживается к ней, гладит ее, и она чувствует себя защищенной не только успокаивающими ласками его пальцев, но и утешительным объятием его лет.

А потом он внезапно исчезает, в голове ее проносятся сумбурные образы первого неглубокого сна. Она снова пробуждается, и ей кажется, что вся комната залита странным голубым сиянием. Что это за удивительное сияние, которого она никогда прежде не видела? Может, сюда сошла луна, окутанная голубоватой пеленой? Или она спит с открытыми глазами?

Бертлеф улыбается ей и непрестанно гладит по лицу.

И она окончательно закрывает глаза, уносимая сном.

День пятый

1

Было еще темно, когда Клима пробудился от тревожного сна. Он хотел застать Ружену дома до ее ухода на работу. Но как объяснить Камиле, что ему надо куда-то уйти еще до рассвета?

Он взглянул на часы: было пять. Чтобы не разминуться с Руженой, уже сейчас нужно встать, но какую придумать отговорку? От волнения сильно стучало сердце, однако делать было нечего — он встал и начал одеваться, тихо, чтобы не разбудить Камилу. Он уже застегивал пиджак, когда услышал ее голос. Высокий голосок, говорящий со сна:

— Ты куда?

Он подошел к кровати и нежно поцеловал ее в губы:

— Спи, я сейчас вернусь.

— Я пойду с тобой,— сказала Камила, но тотчас снова уснула.

Клима быстро вышел за дверь.

2

Возможно ли? Он все еще ходит взад и вперед?

Да. Но сейчас он остановился, увидев в воротах Ричмонда Климу. Спрятался, потом припустил за ним к дому Маркса. Прошел мимо привратницкой (привратник спал) и притаился за углом коридора, где была комната Ружены. Увидел, как трубач стучится в ее дверь. Но ему никто не открывал. Клима постучал еще раз, другой, повернулся и пошел прочь.

Франтишек выбежал за ним. Трубач по длинной улице шел в сторону водолечебницы, где у Ружены через полчаса начиналась смена. Он снова вбежал в дом Маркса, постучал в ее дверь и громко зашептал в замочную скважину:

— Это я! Франта! Меня нечего бояться! Мне ты можешь открыть!

Никто не ответил.

Когда Франтишек выходил, привратник уже проснулся.

— Ружена дома? — спросил он.

— Со вчера ее тут не было,— сказал привратник.

Франтишек вышел на улицу. Вдалеке увидел Климу, входящего в курортное здание.

3

Ружена всегда просыпалась в половине шестого. И сегодня, когда так чудесно нисходил к ней сон, она не спала ни на минуту дольше. Она встала, оделась и на цыпочках вошла в соседнюю комнату.

Бертлеф лежал на боку, глубоко дышал, и волосы, тщательно причесанные днем, сейчас растрепались и обнажали кожу на черепе. Во сне его лицо казалось более серым и старым. На ночном столике стояло несколько пузырьков с лекарствами, напомнивших Ружене больницу. Но это не мешало ей. Она смотрела на него и чувствовала, как к глазам подступают слезы. Она не знала вечера более прекрасного, чем вчерашний. У нее было странное желание встать перед ним на колени. Она не сделала этого, лишь нагнулась и нежно поцеловала его в лоб.

А на улице, уже приближаясь к водолечебнице, увидела шедшего ей навстречу Франтишека.

Еще вчера эта встреча встревожила бы ее. Хотя она и любила трубача, Франтишек значил для нее многое. Он составлял с Климой нерасторжимую пару. Один означал обыденность, другой — мечту, один хотел ее, другой не хотел, от одного она

стремилась избавиться, по другому тосковала. Один определял смысл существования другого. Даже решив, что беременна от Климы, она не вычеркнула Франтишека из своей жизни; напротив, Франтишек оставался постоянным поводом для такого решения. Она стояла между ними, как между двумя полюсами своей жизни; они создавали север и юг ее планеты, и никакой другой она не знала.

Но сегодня утром она неожиданно поняла, что это не единственная планета, на которой можно жить. Она поняла, что можно существовать без Климы и без Франтишека, что незачем спешить, что времени достаточно, что можно позволить умным и зрелым мужчинам вывести ее из этой заколдованной территории, где так быстро приходит старость.

— Где ты была ночью? — накинулся на нее Франтишек.

— А тебе что до этого!

— Я был у тебя. Тебя не было дома.

— Тебе нет дела, где я была,— сказала Ружена и, не останавливаясь, прошла к воротам водолечебницы.— И не ходи ко мне. Не хочу, чтобы ты ходил ко мне.

Франтишек остался один перед водолечебни-

цей, а поскольку после целой ночи хождения болели ноги, он сел на лавочку, откуда удобно было наблюдать за входом.

Ружена вбежала по лестнице на второй этаж, вошла в просторную приемную, вдоль стен уставленную скамьями и креслами для пациентов. Перед дверью в ее отделение сидел Клима.

— Ружена! — Он встал и смотрел на нее отчаянными глазами.— Прошу тебя. Ну прошу, образумься, и пойдем туда вместе.

Его страх был обнаженным, очищенным от всякой любовной демагогии, к которой он так упорно стремился все эти дни.

Ружена сказала:

— Ты хочешь избавиться от меня.

Он испугался:

— Я вовсе не хочу избавиться от тебя. Наоборот. Все это ради того, чтобы мы могли еще больше любить друг друга.

— Не лги,— сказала Ружена.

— Ружена, прошу тебя! Будет ужасно, если ты не пойдешь!

— Кто сказал, что я не пойду? У нас еще три часа впереди. Ведь сейчас только шесть. Ступай к своей жене и выспись как следует!

Она закрыла за собой дверь, надела белый ха-

лат и сказала тридцатипятилетней:

— У меня к тебе просьба. В девять мне придется уйти. Не могла бы ты побыть здесь часок вместо меня?

— Значит, ты поддалась на его уговоры,— сказала сослуживица укоризненно.

— Нет, не поддалась. Я влюбилась,— сказала Ружена.

4

Якуб подошел к окну, открыл его. Он думал о голубой таблетке и не мог поверить, что вчера действительно дал ее посторонней женщине. Он смотрел на голубизну неба и дышал свежим воздухом осеннего утра. Мир, который он видел в окне, был нормальным, спокойным, естественным. Вчерашнее приключение с медсестрой вдруг представилось ему бессмысленным и неправдоподобным.

Подняв телефонную трубку, он набрал номер водолечебницы. Сказал, что хотел бы поговорить с сестрой Руженой из женского отделения. Ждал довольно долго. Потом раздался женский голос. Он повторил свою просьбу. Голос ответил, что сестра Ружена сейчас занята в бассейне и подойти к телефону не может. Он поблагодарил и

повесил трубку.

О, какое он почувствовал облегчение: медсестра жива! Таблетки из тюбика принимают три раза в день, она должна была принять их вчера вечером и сегодня утром и, значит, его таблетку уже давно проглотила. Вдруг все перед ним прояснилось: голубая таблетка, которую он носил в кармане как гарантию своей свободы, была обманом. Его друг преподнес ему таблетку иллюзии.

Боже правый, как случилось, что до сих пор это не осенило его? Он снова припомнил тот давнишний день, когда он попросил друзей достать ему яд. Он вернулся как раз тогда из тюрьмы и сейчас, по истечении стольких лет, понимает, что каждый из них счел его просьбу всего лишь театральным жестом, каким он хотел уже задним числом обратить внимание на пережитые муки. Но Шкрета без колебаний пообещал выполнить его просьбу и действительно через несколько дней принес ему блестящую голубую таблетку. Да и зачем было ему колебаться и в чем-то разубеждать его? Он поступил гораздо мудрее тех, кто отверг его просьбу. Он дал ему безобидную иллюзию покоя и уверенности и тем самым еще и купил его на всю жизнь.

Как же это ни разу не приходило ему в голову?

Он тогда несколько удивился, что Шкрета дал ему яд в виде обыкновенной, фабричным способом изготовленной пилюльки. Он знал, правда, что Шкрета как биохимик имеет доступ к ядам, но не мог понять, как ему удалось подобраться к фабричным автоматам, штампующим таблетки. Да он особенно и не задумывался над этим. И хотя все на свете подвергал сомнению, в таблетку верил как в Евангелие.

Сейчас, в минуты бесконечного облегчения, он был, конечно, благодарен другу за его обман. Он был счастлив, что медсестра жива и что вся вчерашняя бессмысленная история обернулась всего лишь кошмаром и дурным сном. Но ничто на свете не длится слишком долго, и вслед за слабеющими волнами чувства успокоенности зазвучал тоненький голосок сожаления:

Как это смешно! Таблетка в кармане сообщала каждому его шагу театральный пафос и дала ему возможность сотворить из своей жизни возвышенный миф! Он был убежден, что носит в шелковистой бумажке смерть, а на самом деле там затаился лишь тихий смех Шкреты.

Якуб понимал, что его друг в конечном счете действовал правильно, но все-таки ему казалось, что тот самый Шкрета, которого он так любил,

превратился вдруг в обыкновенного эскулапа, каких тринадцать на дюжину. Той естественностью, с какой тогда Шкрета, нимало не колеблясь, вручил ему яд, он полностью исключал себя из того круга людей, которых Якуб знал. В его поведении было нечто невообразимое. Он поступал не так, как поступают люди с себе подобными. Он был далек от мысли, что Якуб может воспользоваться ядом в приступе истерии или депрессии. Он обращался с ним как с человеком, полностью владеющим своей судьбой и не подверженным человеческим слабостям. Они действовали вместе, как два бога, вынужденных жить среди людей,— и это было прекрасно. Это было незабываемо. И вдруг все исчезло.

Якуб смотрел на голубизну неба и говорил себе: «Он подарил мне сегодня облегчение и покой. И вместе с тем отобрал у меня самого себя, моего Шкрету».

5

Клима был сладко опьянен согласием Ружены, но даже самая большая награда не выманила бы его из этой приемной. Вчерашнее необъяснимое исчезновение Ружены угрожающе запечатлелось в его памяти. Он принял решение терпеливо

ждать ее здесь, чтобы никто не сумел разубедить ее, увести или похитить.

Мимо него сновали пациентки и входили в дверь, за которой исчезла Ружена; одни оставались там, другие снова выходили в коридор и, усевшись в расставленные вдоль стен кресла, не сводили вопросительного взгляда с Климы, ибо в приемную женского отделения мужчинам хода не было.

Из одной двери выглянула толстая женщина в белом халате; она долго смотрела на него, а затем подошла и спросила, не ждет ли он Ружену. Покраснев, он утвердительно кивнул.

— Вам незачем ждать. До девяти у вас есть время,— сказала она с назойливой доверительностью, и Климе показалось, что все женщины вокруг слышат это и знают, о чем идет речь.

Было примерно без четверти девять, когда на пороге показалась Ружена, одетая в обычное платье. Он присоединился к ней, и они молча вышли на улицу. Оба были погружены в свои мысли и потому не заметили, что Франтишек, скрываясь за порослью парка, идет за ними следом.

6

Якубу остается лишь проститься с Ольгой и Шкретой, но прежде хочется еще пройтись (напоследок) по парку и ностальгически полюбоваться деревьями, похожими на языки пламени.

Он вышел в коридор в ту самую минуту, когда за собой закрывала дверь противоположной комнаты молодая женщина — ее высокая фигура привлекла его внимание. Когда она повернула к нему лицо, он изумился его красоте.

— Вы знакомая доктора Шкреты? — спросил он.

Женщина приветливо улыбнулась:

— Откуда вы знаете?

— Вы вышли из комнаты, которую доктор Шкрета использует для своих друзей,— сказал Якуб и представился.

— Очень приятно. Я Климова. Пан доктор поселил здесь моего мужа. Я как раз ищу его. Он, наверное, с паном доктором. Не подскажете, где я могла бы найти их?

Якуб смотрел в лицо молодой женщины с неутолимым наслаждением, и у него мелькнула мысль (снова!), что, поскольку он здесь последний день, каждое событие приобретает особый

смысл и становится символическим посланием.

Но что говорит ему это послание?

— Я могу проводить вас к доктору Шкрете,— сказал он.

— Я была бы вам очень благодарна,— ответила она.

Да, что говорит ему это послание?

Прежде всего, что это только послание, и ничего больше. Через два часа Якуб уедет, и это прекрасное создание исчезнет для него навсегда. Эта женщина пришла явить ему образ отречения. Он встретил ее лишь затем, чтобы понять, что она никогда не будет принадлежать ему. Он встретил ее как образ всего того, что он, уезжая, теряет.

— Удивительно,— сказал он.— Сегодня я буду беседовать с доктором Шкретой, верно, в последний раз в жизни.

Но послание, которое приносит ему эта женщина, говорит о чем-то большем. Оно пришло в последнюю минуту возвестить ему о красоте. Да, о красоте, и Якуб едва ли не с испугом осознал, что, по существу, он не имел о ней никакого понятия, что пренебрегал ею и никогда ради нее не жил. Красота этой женщины завораживала его. У него вдруг возникло ощущение, что во всех его решениях всегда была какая-то погрешность. Что

он забывал учитывать нечто важное в жизни. Ему показалось, что, знай он эту женщину, его решения были бы иными.

— Почему это вы будете беседовать с ним в последний раз?

— Я уезжаю за границу. И надолго.

Нет, не то чтобы у него никогда не было красивых женщин, но к их очарованию он относился как к чему-то сопутствующему. То, что толкало его к женщинам, было жаждой мести, тоской, неудовлетворенностью, а подчас жалостью и состраданием, женский мир сливался у него с горькой драмой этой страны, где он был преследователем и преследуемым и где пережил много раздоров и мало идиллий. Но эта женщина вдруг предстала перед ним отделенная от всего этого, отделенная от его жизни, она пришла откуда-то извне, она явила себя, явила себя не только как красивая женщина, но и как красота сама по себе и сообщила ему, что и здесь можно было жить иначе и во имя чего-то другого, что красота больше справедливости, что красота больше правды, что она реальнее ее, бесспорнее и даже доступнее, что красота надо всем прочим и что в эту минуту она потеряна для него навсегда. Что она пришла явить ему себя в последнюю минуту лишь затем,

чтобы он не думал, что познал все и прожил здесь свою жизнь, исчерпав до дна ее возможности.

— Завидую вам,— сказала она.

Они шли вместе по парку, небо было голубым, кусты — желтыми и красными, и Якубу снова представилось, что это образ огня, в котором сгорают его прошлые истории, воспоминания и обстоятельства.

— Вам нечему завидовать. В эту минуту мне кажется, что я не должен был бы никуда уезжать.

— Почему? В последнюю минуту вам здесь понравилось?

— Вы мне понравились. Вы мне ужасно понравились. Вы невероятно красивы.

Он высказал это, даже не ведая как, и тут же мелькнула мысль, что он может говорить ей все, ибо через несколько часов его здесь не будет и его слова не возымеют никаких последствий ни для него, ни для нее. Эта нежданно обретенная свобода опьяняла его.

— Я жил как слепой. Как слепой. Впервые сегодня я понял, что существует красота. И что я проворонил ее.

Она сливалась у него с музыкой и картинами, с тем царством, в которое он никогда не вступал, она сливалась у него с разноцветными деревьями

вокруг, и он уже не видел в них ни посланий, ни смыслов (образ огня или сгорания), а прозрел лишь экстаз красоты, загадочно пробужденный касанием ее стоп, ударом ее голоса.

— Я сделал бы все для того, чтобы завоевать вас. Я хотел бы все бросить и прожить всю свою жизнь иначе — лишь ради вас и для вас. Но я не могу, поскольку в эту минуту меня, по существу, здесь уже нет. Я должен был уехать еще вчера, а сегодня я здесь лишь в качестве собственного опоздания.

Ах да, только сейчас он понял, почему он должен был встретить ее. Эта встреча произошла за пределами его жизни, где-то по другую сторону его судьбы, на обороте его биографии. Но тем раскованнее он говорил с ней, пока наконец не почувствовал, что все равно не сможет сказать ей то, что хотел бы.

Он коснулся ее руки и указал:

— Здесь принимает доктор Шкрета. Поднимитесь на второй этаж.

Пани Климова долго смотрела на Якуба, и он впивал ее взгляд, влажный и мягкий, как даль. Он еще раз коснулся ее руки, повернулся и пошел прочь.

А оглянувшись, увидел, что пани Климова

стоит и смотрит ему вслед. Он оглянулся еще несколько раз, а она все стояла и смотрела ему вслед.

7

В приемной сидело примерно двадцать женщин, заметно нервничавших; Ружене и Климе уже негде было сесть. Напротив них на стене висели плакаты, с помощью картинок и лозунгов призывавшие женщин не делать абортов.

«Мамочка, почему ты не хочешь меня?» — было написано большими буквами на плакате, с которого улыбался младенец в одеяльце; под младенцем такими же буквами было напечатано стихотворение про то, как нерожденное дитя просит маму не выскабливать его и за это сулит ей море радостей: «В чьих ты, мамочка, объятиях умрешь, если, нерожденного, меня убьешь?»

На других плакатах были увеличенные фотографии смеющихся матерей, сжимающих ручки колясок, и фотографии писающих мальчиков. (Климе пришло в голову, что писающий мальчик — неопровержимый аргумент в пользу деторождения. Он вспомнил, как однажды в кинохронике был показан писающий мальчик и как весь зал зашелестел счастливыми женскими вздохами.)

После некоторого ожидания Клима постучал в дверь; вышла сестричка, и Клима назвал имя доктора Шкреты. Через какое-то время доктор появился и, протянув Климе бланк, попросил заполнить его и потом терпеливо подождать.

Клима прижал бланк к стене и стал заполнять отдельные графы: имя, дату рождения, место рождения. Ружена подсказывала ему. Затем дошла очередь до графы, где стояло: имя отца. Он смешался. Ужасно было видеть черным по белому это постыдное звание и приписывать к нему свое имя.

Ружена, глядя на руку Климы, заметила, как она дрожит. Это доставило ей удовольствие.

— Ну пиши,— сказала она.

— Кого я тут должен вписать? — прошептал Клима.

Сейчас он казался ей трусливым и испуганным, она презирала его. Всего боится, боится ответственности, боится даже собственной подписи на официальном бланке.

— Извини, но, по-моему, совершенно ясно, кого ты там должен вписать,— сказала она.

— Я думал, что это не имеет значения,— сказал Клима.

Даже потеряв к нему интерес, она все-таки

в душе была глубоко убеждена в том, что этот трус виноват перед ней; ей было приятно его наказывать:

— Если тебе угодно врать, то вряд ли со мной договоришься.

Когда он вписал в графу свое имя, она присовокупила со вздохом:

— Все равно еще не знаю, как поступлю…

— В каком смысле?

Она смотрела в его испуганное лицо:

— Пока из меня его не вынули, я могу еще и передумать.

8

Она сидела в кресле, положив ноги на стол, и смотрела в детектив, купленный на случай курортной скуки. Но читала она весьма рассеянно, так как в голову ей поминутно лезли ситуации и слова минувшего вечера. Вчера ей нравилось все, но более всего — она сама. Наконец она была такой, какой мечтала быть всегда; никоим образом не жертвой мужских помыслов, а единственным творцом своей судьбы. Она решительно отбросила роль воспитанницы, отведенную ей Якубом, и, наоборот, сама сотворила его по своему желанию.

Она казалась себе элегантной, независимой и смелой. Она сидела и смотрела на свои ноги, положенные на стол, туго обтянутые белыми джинсами, и когда раздался стук в дверь, весело крикнула:

— Входи, я жду тебя!

Якуб вошел, вид у него был опечаленный.

— Привет! — сказала она, все еще не спуская со стола ноги.

Ей показалось, что Якуб смущен, это доставило ей удовольствие. Потом она подошла к нему и чмокнула в щеку.

— Останешься на немного?

— Нет,— сказал Якуб грустным голосом.— На этот раз я действительно прощаюсь с тобой. Уезжаю. Решил напоследок еще раз проводить тебя до водолечебницы.

— Отлично,— весело сказала Ольга,— можем пройтись.

9

Якубу, целиком захваченному образом прекрасной пани Климовой, пришлось преодолеть определенную неприязнь, чтобы прийти проститься с Ольгой, оставившей в его душе после вчерашней встречи ощущение растерянности и

грязи. Но он никогда не дал бы ей это понять. Он заставил себя держаться с ней с исключительным тактом, чтобы она и заподозрить не могла, сколь мало наслаждения и радости получил он от их вчерашней любовной близости — пусть она сохранит об этом самые лучшие воспоминания. Он делал серьезный вид, ничего не значащие фразы бросал с печальным придыханием, слегка касался ее руки, временами гладил по волосам, а когда она засматривала ему в глаза, отвечал грустным взглядом.

По дороге она предложила ему еще заскочить куда-нибудь на бокал вина, но Якуб, тяготясь этой последней их встречей, старался по возможности сократить ее.

— Прощание — слишком печальная вещь, я не хочу продлевать его,— сказал он.

Перед входом в курортное здание он взял ее за обе руки и заглянул в самую глубину глаз.

Ольга сказала:

— Якуб, ты молодец, что приехал. Вчера был потрясающий вечер. Я рада, что ты наконец перестал играть роль папеньки и стал Якубом. Было по-настоящему здорово. Правда, здорово?

Якуб понял, что до нее ничего не доходит. Неужто эта утонченная девушка воспринимает их

вчерашнюю близость всего лишь как пустую забаву? Неужто ее толкнула к нему чувственность, лишенная чувства? Неужто радостное воспоминание о единственном любовном вечере перевесило печаль прощания на всю оставшуюся жизнь?

Он поцеловал ее. Она пожелала ему счастливого пути и повернулась к широким воротам водолечебницы.

10

Он ходил часа два перед зданием поликлиники, теряя терпение. И хотя без конца убеждал себя, что не смеет устраивать сцены, он чувствовал, как самообладание покидает его.

Он вошел в поликлинику. Курортный городок был невелик, и здесь все его знали. Он спросил привратника, не видел ли он, как вошла внутрь Ружена. Привратник утвердительно кивнул и сказал, что она поднялась на лифте. Поскольку лифт ходил только на четвертый этаж, а на нижние этажи люди поднимались пешком, он решил ограничить свои поиски лишь двумя коридорами в самой верхней части здания. Он прошел первым коридором, где были канцелярии (он был пуст), а во второй коридор (где помещалось

гинекологическое отделение) вошел с чувством неловкости, ибо мужчинам вход туда был заказан. Увидел санитарку, знакомую на вид. Спросил о Ружене. Она кивнула на дверь в конце коридора. Дверь была открыта, и возле нее стояло несколько мужчин и женщин. Франтишек вошел внутрь, там сидели еще несколько женщин, но ни трубача, ни Ружены не было.

— Вы не видели здесь девушку, такую блондинку?

Женщина указала на закрытую дверь:

— Они там.

«Мамочка, почему ты не хочешь меня?» — прочел Франтишек, а на других плакатах увидел писающих мальчиков и младенцев. Он стал осознавать, о чем идет речь.

11

В помещении стоял продолговатый стол. С одной стороны сидели Клима с Руженой, против них восседал доктор Шкрета, а рядом с ним — две коренастые женщины.

Доктор Шкрета посмотрел на обоих заявителей и неприязненно покачал головой:

— Мне грустно смотреть на вас. Вы знаете, какие мы здесь прилагаем усилия, чтобы вернуть

несчастным бесплодным женщинам способность иметь детей? А вы, люди молодые, здоровые и рослые, добровольно избавляетесь от самого ценного в жизни. Я настоятельно обращаю ваше внимание на то, что наша комиссия создана не для содействия абортам, а для их упорядочения.

Обе женщины утвердительно замурлыкали, а доктор Шкрета продолжал наставлять обоих заявителей. У Климы громко стучало сердце. Хотя он и понимал, что доктор Шкрета адресует свои речи вовсе не ему, а двум членам комиссии, которые всей мощью своих материнских животов ненавидели молодых, не желающих рожать женщин, но он до ужаса боялся, что эти слова собьют с толку Ружену. Разве минуту назад она не сказала ему, что все еще не приняла окончательного решения?

— Ради чего вы собираетесь жить? — продолжал доктор Шкрета.— Жизнь без детей что дерево без листвы. Будь моя воля, я запретил бы аборты. Разве вас не пугает, что год от года популяция сокращается? И это у нас, где забота о матери и ребенке возведена на такой уровень, как нигде в мире! У нас, где никто не должен бояться за свое будущее!

Обе женщины опять утвердительно замурлы-

кали, а доктор Шкрета гнул свое:

— Товарищ женат и теперь боится взять на себя все последствия безответственной сексуальной связи. Однако вам следовало бы думать об этом раньше, товарищ!

Доктор Шкрета чуть помолчал и снова обратился к Климе:

— У вас нет детей. Вы действительно не можете ради этого зачатого ребенка развестись со своей женой?

— Не могу,— сказал Клима.

— Я знаю,— вздохнул доктор Шкрета.— Я получил сведения от психиатра, что пани Климова страдает суицидным синдромом. Рождение ребенка создало бы угрозу ее жизни, разрушило бы этот брак, а сестра Ружена стала бы матерью-одиночкой. Что прикажете делать,— вздохнул еще раз доктор Шкрета и пододвинул бланк к членам комиссии — обе дамы тоже вздохнули и в надлежащей графе поставили свои подписи.

— Явитесь для оперативного вмешательства на будущей неделе в понедельник, к восьми часам утра,— сказал доктор Шкрета Ружене и дал понять, что она может уйти.

— А вы останьтесь здесь,— обратилась одна из толстух к Климе. Когда Ружена ушла, жен-

щина сказала: — Пресечение беременности не такая уж безобидная вещь, как вам кажется. Происходит большая потеря крови. Своей безответственностью вы отняли у женщины кровь и потому извольте, справедливости ради, отдать свою.— Она подсунула Климе какой-то бланк и сказала: — Распишитесь здесь.

Смущенный Клима послушно расписался.

— Это заявление от добровольных доноров. Вы можете зайти в соседний кабинет, сестра возьмет у вас кровь.

12

Ружена прошла приемную с опущенными глазами и увидала Франтишека уже в коридоре, когда он окликнул ее.

— Где ты была?

Испугавшись свирепого выражения его лица, она ускорила шаг.

— Я спрашиваю, где ты была?

— Тебе-то что!

— Я знаю, где ты была.

— Если знаешь, не спрашивай.

Они спускались по лестнице, Ружена очень спешила, стараясь уйти от Франтишека и разговора с ним.

— Это была абортная комиссия.

Ружена молчала. Они вышли на улицу.

— Это была абортная комиссия. Я знаю. И ты хочешь избавиться от ребенка.

— Сделаю то, что захочу.

— Нет, не сделаешь того, что захочешь. Это меня тоже касается.

Ружена торопилась, чуть ли не бежала. Франтишек бежал за ней. Когда они были уже у ворот водолечебницы, она сказала:

— Только посмей идти за мной. Я уже на работе. Не мешай мне работать.

Франтишек был взбешен:

— Посмей мне только что-нибудь сказать!

— У тебя нет никакого права!

— Это у тебя не было никакого права!

Ружена вбежала в здание, Франтишек — за ней.

13

Якуб был счастлив, что все уже позади и ему остается последнее: проститься со Шкретой. Он медленно пошел от курортного здания к дому Маркса.

Издали навстречу ему по широкой аллее шла пани учительница, а за ней ребятишек двадцать

из детского сада. У пани учительницы в руке был длинный красный шнур, и все дети, следовавшие за ней гуськом, держались за него. Дети шли медленно, и учительница, указывая на кусты и деревья, перечисляла их названия. Якуб остановился, он плохо разбирался в естествознании и всякий раз забывал, что клен называется кленом, а граб — грабом.

— Это липа,— указала учительница на пожелтевшее раскидистое дерево.

Якуб оглядел детей. Все они были в синих курточках и красных шапочках и выглядели родными братьями. Он присмотрелся к их лицам, и ему показалось, что не только одеждой, но и лицами они похожи друг на друга. По крайней мере у семерых из них он обнаружил приметно большие носы и широкие губы. Они были похожи на доктора Шкрету.

Он вспомнил носатого ребенка хозяев трактира. Неужто евгеническая мечта Шкреты была не только игрой фантазии? Неужто в этом крае и вправду родятся дети великого отца Шкреты?

Якубу стало смешно. Все эти дети выглядят одинаково, потому что все дети на свете похожи друг на друга. Но потом снова мелькнула мысль: а что, если доктор Шкрета и вправду осуществляет

свой удивительный проект? И почему не могут осуществляться удивительные проекты?

— А там что, дети?

— Береза! — ответил маленький Шкрета; да, это был вылитый Шкрета; у него был не только большой нос, но и очечки, и носовой выговор, делающий речь друга Якуба столь трогательно смешной.

— Молодец, Ольджих! — сказала учительница.

Якубу представилось, что через десять, двадцать лет эту страну будут населять тысячи Шкрет. И вновь его охватило странное чувство, что он жил в своем отечестве и не знал, что в нем творится. Жил, как говорится, в эпицентре всех свершений. Переживал каждое актуальное событие. Вмешивался в политику, едва не лишился из-за нее жизни, и пусть потом был вышвырнут в никуда, все равно не переставал мучиться ее проблемами.

Он всегда считал, что слушает сердце, стучащее в груди страны. Но кто знает, что он, собственно, слышал! Сердце ли это было? Не был ли это старый будильник, что отсчитывал совершенно ложное время? Не являлись ли все эти политические схватки лишь блуждающими огоньками,

призванными отвлечь его от того, что было действительно важным?

Учительница повела детей дальше по широкой аллее парка, а Якуб чувствовал, как образ красивой женщины все больше овладевает им. Воспоминание об этой красавице вновь и вновь рождало в нем неотвязный вопрос: а что, если он жил совсем в ином мире, чем полагал? Что, если он видел все в превратном свете? Что, если красота значит больше, чем правда, и что, если в самом деле ангел принес два дня назад Бертлефу георгин?

— А там что? — услышал он голос учительницы.

И маленький очкарик Шкрета ответил:

— Клен.

14

Ружена, вбегая по лестнице, старалась не оглядываться. Она захлопнула за собой дверь своего отделения и сразу же пошла в раздевалку. Надела на голое тело халат курортной сестры и облегченно вздохнула. Стычка с Франтишеком растревожила ее, но при этом странным образом и успокоила. Она чувствовала, что теперь они оба, и Франтишек и Клима, чужие ей и далекие.

Она вышла из кабины в зал, где на кушетках вдоль стен лежали после купания женщины.

За столиком у двери сидела тридцатипятилетняя.

— Ну что, разрешили? — холодно спросила она.

— Да. Спасибо тебе,— сказала Ружена, уже подавая новой пациентке ключ и большую простыню.

Как только тридцатипятилетняя отошла, приоткрылась дверь, и протиснулась голова Франтишека.

— Неправда, что это только твое дело. Это нас обоих касается. Мое решение тоже важно!

— Прошу тебя, сгинь! — зашипела она.— Это женское отделение, мужчинам здесь делать нечего! Уходи сию же минуту, не то я прикажу тебя вывести!

Франтишек весь пылал от возбуждения, а угроза Ружены и вовсе так взбесила его, что он вошел в зал и захлопнул за собой дверь.

— Мне плевать, что ты сделаешь! Мне совершенно плевать! — кричал он.

— Я тебе говорю: мотай сию же минуту!

— Я вывел вас на чистую воду! Этот мужик все обстряпал! Трубач! За всем этим сплошная туфта

и блат! Он провернул это дельце у доктора, потому что они вчера играли вместе! Но я все вижу, я не дам убить моего ребенка! Я отец, и мое слово тоже кое-что значит. И я запрещаю тебе убивать моего ребенка!

Франтишек кричал, и женщины, лежавшие на кушетках под одеялами, с любопытством поднимали головы.

И Ружена была донельзя взвинчена: Франтишек кричал, а она не знала, как приглушить вспыхнувшую ссору.

— Вовсе это не твой ребенок,— сказала она.— Ты все выдумал. Это вовсе не твой ребенок!

— Что, что?! — закричал Франтишек и сделал еще два шага внутрь помещения, чтобы обойти столик и подступиться к Ружене.— Как это не мой ребенок? Кому, как не мне, знать это? А я знаю!

Из соседнего зала, где был бассейн, вошла голая и мокрая женщина, которую Ружена должна была уложить и укутать. Она испуганно смотрела на Франтишека — он стоял в нескольких метрах от нее и не сводил с нее невидящего взгляда.

На минуту Ружена оказалась свободной; она подошла к женщине, набросила на нее простыню и повела к кушетке.

— Что здесь делает этот парень? — спросила

женщина, оглядываясь на Франтишека.

— Сумасшедший! Этот парень сошел с ума, и я не знаю, как его отсюда выпроводить. Просто ума не приложу, что делать с этим психом! — говорила Ружена, укутывая женщину в теплое одеяло.

— Послушайте, сударь! — крикнула ему другая пациентка с кушетки.— Вам здесь нечего делать! Проваливайте отсюда!

— Мне здесь есть что делать! — упрямо сказал Франтишек, не двигаясь с места.

Когда Ружена снова подошла к нему, его лицо было уже не красным, а бледным; он уже не кричал, а говорил тихо и решительно:

— Я вот что тебе скажу. Если ты дашь выковырять ребенка, меня здесь тоже не будет. Если убьешь ребенка, на твоей совести будут две жизни.

Ружена глубоко вздохнула и посмотрела на стол. Там лежала сумка с тюбиком голубых таблеток. Она стряхнула одну на ладонь и проглотила.

А голос Франтишека уже не кричал, а умолял:

— Прошу тебя, Ружена. Прошу тебя. Я не могу жить без тебя. Я покончу с собой.

В это мгновение Ружена почувствовала дикую резь внутри, и Франтишек увидел ее лицо, искаженное болью, не похожее на себя, увидел ее

глаза, широко раскрытые, но незрячие, увидел, как ее тело корчится, извивается, и как она, сжав руками живот, падает на пол.

15

Ольга плескалась в бассейне и вдруг услышала… Собственно, что она услышала? Она не понимала, что она слышит. Но зал охватила паника. Женщины, что были рядом с ней, выбирались из бассейна и устремляли взгляды в соседнее помещение, которое как бы всасывало в себя все вокруг. Ольга тоже оказалась в этом неудержимом потоке и, бездумно подчиняясь тревожному любопытству, шла за остальными.

В соседнем помещении у двери она увидала толпу женщин. Они стояли спиной к ней, голые и мокрые, и, выставив зады, наклонялись к полу. Против них стоял молодой человек.

И все остальные голые женщины старались протиснуться к этой группе; Ольга тоже протиснулась туда и увидела сестру Ружену: она лежала на полу и не шевелилась. Молодой человек вдруг опустился на колени и закричал:

— Я убил ее! Это я ее убил! Я убийца!

С женщин стекала вода. Одна из них нагнулась к лежавшей Ружене и попыталась нащупать

пульс. Но это был напрасный жест, ибо здесь царила смерть, и в ней уже никто не сомневался. Голые, мокрые тела женщин нетерпеливо напирали друг на друга, чтобы увидеть смерть вблизи, чтобы заглянуть ей в доверительно знакомое лицо.

Франтишек стоял на коленях. Он обнимал и целовал Ружену.

Вокруг толпились женщины, Франтишек обводил их глазами и все повторял:

— Я убил ее! Арестуйте меня!

Одна из женщин сказала: «Ну делайте что-нибудь!», а другая выбежала в коридор и стала звать на помощь. Примчались обе сослуживицы Ружены, а за ними врач в белом халате.

Только сейчас Ольга осознала, что она голая и что протискивается сквозь толпу других голых женщин перед чужим молодым человеком и чужим врачом, и ситуация показалась ей смешной. Но она понимала, что это уже ничего не изменит и что она все равно по-прежнему будет протискиваться вперед, чтобы посмотреть в лицо притягивавшей ее смерти.

Врач держал распростертую Ружену за руку, тщетно пытаясь прощупать пульс. А Франтишек твердил свое:

— Я убил ее. Вызовите полицию. Арестуйте меня.

16

Якуб встретил друга, когда тот возвращался из поликлиники в свой кабинет в доме Маркса. Он похвалил его за вчерашнюю игру на барабане и извинился, что не подождал его после концерта.

— Меня это очень расстроило. Ты здесь последний день и весь вечер мотаешься черт знает где. А нам надо было многое обсудить. И хуже всего, что ты наверняка был с этой замухрышкой. Ясно дело, благодарность — чувство ужасное.

— При чем тут благодарность? За что мне благодарить ее?

— Ты же писал мне, что ее отец много для тебя сделал.

В этот день у доктора Шкреты не было приемных часов, и гинекологическое кресло бездейственно возвышалось в задней части кабинета. Оба приятеля сели в кресла друг против друга.

— А, пустое,— продолжал Якуб разговор.— Я хотел, чтобы ты принял ее здесь, и думал, что будет проще сказать, как я обязан ее отцу. Но все было совершенно иначе. Коли я подо всем подвожу здесь черту, то скажу тебе и об этом. Я

загремел тогда в тюрьму при полном согласии ее отца. Ее отец послал меня на смерть. А через полгода пошел на смерть сам, тогда как мне посчастливилось уцелеть.

— Выходит, это дочь негодяя,— сказал доктор Шкрета.

Якуб пожал плечами:

— Он поверил, что я враг революции. Все стали утверждать это, и он поверил.

— А почему ты мне сказал, что это твой друг?

— Мы были друзьями. Тем большей своей заслугой он считал то, что голосовал за мой арест. Таким образом он доказал, что идеалы для него превыше дружбы. Объявил меня предателем революции, он был уверен, что он подавил в себе личный интерес во имя чего-то высшего, и счел это величайшим подвигом своей жизни.

— И это для тебя повод любить эту уродину?

— У нее нет ничего общего с этим. Она невиновна.

— Таких невиновных девушек пруд пруди. Если ты выбрал именно ее среди прочих, то вероятно потому, что она дочь своего отца.

Якуб пожал плечами, а доктор Шкрета продолжал:

— В тебе есть что-то извращенное, как и в нем.

Мне думается, что и ты считаешь свою привязанность к этой девушке величайшим подвигом своей жизни. Ты поборол в себе естественную ненависть, подавил естественную неприязнь, чтобы самому себе доказать свое благородство. Это красиво, но вместе с тем неестественно и совершенно излишне.

— Это не так,— возразил Якуб.— Я не хотел ничего подавлять в себе и не стремился к благородству. Мне просто стало жалко ее. Сразу же, как только я увидел ее. Еще ребенком ее выгнали из родного дома, она жила с матерью в какой-то горной деревеньке, люди боялись общаться с ними. Она долго не имела права учиться, хотя это одаренная девушка. Ужасно преследовать детей из-за родителей! И мне прикажешь ненавидеть ее из-за ее отца? Мне стало жалко ее. Мне стало жалко ее потому, что казнили ее отца, мне стало жалко ее потому, что ее отец послал на смерть своего товарища.

Зазвонил телефон. Шкрета поднял трубку и с минуту слушал. Явно нервничая, он сказал:

— Сейчас я занят. Мое присутствие необходимо там?

Минуту стояла тишина, потом он сказал:

— Хорошо. Я иду.

Повесил трубку и чертыхнулся.

— Если тебя куда-то вызывают, можешь идти. Мне все равно пора ехать,— сказал Якуб и поднялся с кресла.

— Черт побери,— выбранился Шкрета.— Так мы ничего и не обсудили. А собирались поговорить. Прервали нить моих мыслей. А было это нечто важное. С утра об этом думаю. Не знаешь, о чем я думал?

— Нет,— сказал Якуб.

— Проклятие, мне надо сейчас бежать в водолечебницу...

— Значит, самое время проститься. Посреди разговора,— сказал Якуб и пожал приятелю руку.

17

Тело мертвой Ружены лежало в маленьком помещении, предназначенном для ночного дежурства врачей. Здесь сновало уже несколько официальных лиц, среди которых был инспектор уголовного розыска, успевший уже допросить Франтишека и записать его показания. Франтишек снова настаивал на своем аресте.

— Эту таблетку дали ей вы? — спросил инспектор.

— Нет, я не давал.

— Тогда перестаньте твердить, что вы убили ее.

— Она мне постоянно говорила, что покончит с собой,— сказал Франтишек.

— Почему она говорила, что покончит с собой?

— Говорила, что покончит с собой, если я буду все время приставать к ней. Говорила, что не хочет ребенка. Что скорее руки на себя наложит, чем родит ребенка.

В помещение вошел доктор Шкрета. Он по-дружески поздоровался с инспектором, потом подошел к мертвой. Приподняв веко, проверил цвет конъюнктивы.

— Пан главврач, эта сестра была вашей подчиненной, не так ли? — сказал инспектор.

— Именно так.

— Допускаете ли вы, что она могла воспользоваться каким-нибудь ядом, свободно применяемым в вашей здешней практике?

Шкрета снова повернулся к мертвой Ружене и попросил сообщить ему подробности ее смерти. Вслед за этим сказал:

— Нет. Это не похоже ни на один медикамент, ни на одно вещество, какое она могла бы достать в наших кабинетах. Это безусловно какой-нибудь алкалоид. Какой, установит вскрытие.

— Как она могла его получить?

— Затрудняюсь сказать.

— Пока все покрыто мраком неизвестности,— сказал инспектор.— В том числе и мотив. Вот этот молодой человек показал, что у нее должен был родиться от него ребенок, которого она хотела уничтожить.

— Он принудил ее к этому! — кричал Франтишек.

— Кто? — спросил инспектор.

— Трубач! Он хотел отбить ее у меня и принудил ее избавиться от моего ребенка! Я следил за ними! Он был с ней на комиссии.

— Я могу подтвердить это,— сказал доктор Шкрета.— Мы сегодня действительно рассматривали заявление этой сестры на предмет аборта.

— Трубач был там с ней?

— Да,— сказал Шкрета.— Наша сестра объявила его отцом своего ребенка.

— Это вранье! Это мой ребенок! — кричал Франтишек.

— В этом никто не сомневается,— сказал доктор Шкрета.— Однако нашей сестре необходимо было объявить отцом человека женатого, чтобы комиссия согласилась с пресечением беременности.

— Выходит, вы знали, что это вранье! — кричал

Франтишек на доктора Шкрету.

— По закону решающим является утверждение женщины. Если сестра Ружена объявила нам, что носит в себе плод пана Климы, и он, кстати, утверждал то же самое, то никто из нас не имел права возражать против этого.

— Но вы не верили, что пан Клима — отец ребенка? — спросил инспектор.

— Нет.

— А что привело вас к такому заключению?

— Пан Клима посетил наш курорт всего лишь два раза, и то мимоходом. Поэтому маловероятно, что между ним и нашей сестрой могли завязаться интимные отношения. Наш курорт слишком мал, чтобы такая новость не дошла до меня. Отцовство пана Климы было с наибольшей вероятностью камуфляжем, к которому сестра Ружена склонила его, чтобы комиссия разрешила аборт. Этот молодой человек, конечно, возражал бы против аборта.

Но Франтишек уже не слышал, что говорил Шкрета. Он стоял здесь, но ничего не видел. Он слышал лишь слова Ружены «доведешь меня до самоубийства, точно доведешь меня до самоубийства», знал, что он причина ее гибели, и все-таки не понимал почему и не мог ничего объяснить.

Он стоял здесь, словно дикарь перед чудом, стоял здесь словно перед чем-то сверхъестественным, сделавшись вдруг глухим и слепым, ибо разум отказывался воспринять непостижимое, обрушившееся на него.

(Несчастный Франтишек, ты пройдешь по жизни, так и не поняв ничего, зная лишь, что твоя любовь убила женщину, которую ты любил, ты пройдешь по жизни с этим чувством, как с тайной метой ужаса, как прокаженный, который приносит любимым необъяснимые беды, ты пройдешь по жизни, как вестник несчастья.)

Он стоял бледный, недвижный, точно каменное изваяние, и не заметил даже, как в помещение взволнованно вошел еще один человек; он подошел к мертвой, долго смотрел на нее, потом погладил по волосам.

Доктор Шкрета прошептал:

— Самоубийство. Яд.

Вошедший резко повернул голову:

— Самоубийство? Голову даю на отсечение, что эта женщина не покончила с собой. А если она и проглотила яд, то это точно было убийство.

Инспектор удивленно смотрел на вошедшего. Это был Бертлеф — его глаза пылали гневным огнем.

18

Якуб повернул ключ, и машина тронулась. Он проехал последние курортные особняки и очутился на широком просторе. До границы было всего часа четыре езды, не хотелось торопиться. Сознание, что этой дорогой он едет в последний раз, преображало весь край, принявший вдруг редкостный и необычный вид. Ему казалось, что он не узнает его, что вокруг все другое, чем представлялось прежде, но, к сожалению, он уже не может здесь задержаться.

И одновременно он тут же возражал себе, понимая, что никакая отсрочка отъезда, пусть на день или на годы, не изменит того, что мучит его сейчас: этот край он не познал бы ни на йоту ближе, чем знал до сих пор. И он должен смириться с тем, что покидает его, так и не познав до конца, не исчерпав всей его прелести. Что покидает его как должник и как кредитор со счетами, взаимно не оплаченными.

И снова вспомнилась ему девушка, которой он вложил в тюбик фальшивый яд, и он подумал, что его карьера убийцы была самой короткой из всех карьер, которые выпали ему на долю. Я был убийцей часов восемнадцать, улыбнулся он

своим мыслям.

Но потом возразил себе: нет, неправда, что он был убийцей всего лишь короткое время. Он убийца и останется им до самой смерти. Ибо вовсе не важно, была или не была голубая таблетка ядом, важно то, что он считал ее ядом и что, несмотря на это, дал ее незнакомой женщине и даже не пошевелил пальцем, чтобы спасти ее.

И сейчас он задумался над этим уже с беззаботностью человека, понявшего, что его поступок оказался в плоскости чистого эксперимента.

Его убийство было особенным. Это убийство не имело мотивов. Оно не ставило своей целью добиться какой-либо выгоды для самого убийцы. Стало быть, какой был в нем смысл? Его смысл, по всей вероятности, был в том, чтобы он узнал, что он убийца.

Убийство как эксперимент, как акт самопознания — это он уже знал; это Раскольников. Тот убивал, чтобы ответить себе на вопрос, имеет ли человек право убить неполноценного человека и способен ли он перенести это убийство; этим убийством он спрашивал себя о себе.

Да, здесь есть нечто, сближающее его с Раскольниковым: нецелесообразность убийства, его теоретический характер. Но здесь есть и разли-

чие: Раскольников задавался вопросом, имеет ли право способный человек ради своего интереса пожертвовать неполноценной жизнью. Но когда Якуб подавал медсестре тюбик с ядом, у него не было подобных мыслей. Якуба не занимал вопрос, имеет ли человек право принести в жертву чью-либо жизнь. Напротив, Якуб убежден, что человек не имеет такого права. Якуб жил в мире, где люди жертвовали жизнями других во имя абстрактных идей. Якуб знал лица (беззастенчиво невинные или печально трусливые) тех людей, что, извиняясь, все же старательно приводят в исполнение над своими близкими приговор, в жестокости которого не сомневаются. Якуб хорошо знал эти лица и ненавидел их. А еще Якуб знал, что каждый человек желает кому-то смерти, и от убийства его удерживают лишь две вещи: страх наказания и физическая сложность убиения, как такового. Якуб знал, что если бы каждый человек имел возможность убивать тайно и на расстоянии, род людской за несколько минут иссяк бы. Поэтому эксперимент Раскольникова он не мог не считать совершенно напрасным.

Почему же в таком случае он дал медсестре яд? Была ли это всего лишь простая случайность? Ведь Раскольников свое убийство тщательно

продумывал и подготавливал, тогда как он, Якуб, действовал в мгновенном порыве! Однако Якуб знал, что и он уже много лет непроизвольно готовился к своему убийству и что то мгновение, когда он подал Ружене яд, было щелью, в которую вклинилась, точно лом, вся его прошлая жизнь, его всяческое разочарование в людях.

Раскольников, убивший топором старуху-процентщицу, сознавал, что перешагивает страшный порог; что преступает закон Божий; он знал, что старуха — ничтожная тварь, но одновременно и тварь Божия. Якуб не испытывал страха Раскольникова. Для него люди не были Божьими тварями. Он любил мягкость и благородство, но убедился, что эти свойства вовсе не человеческие. Якуб хорошо знал людей и потому не любил их. Он был благороден, и потому дал им яд.

Стало быть, на убийство подвигло меня благородство, сказал он себе, и это показалось ему смешным и печальным.

Раскольников, убивший старуху-процентщицу, не в силах был совладать со страшной бурей угрызений совести. Тогда как Якуб, глубоко убежденный, что человек не имеет права приносить в жертву чужие жизни, вовсе не испытывает угрызений совести.

Он стремился представить себе медсестру действительно мертвой и прислушивался, овладевает ли им ощущение вины. Нет, ничего похожего не наступало, и Якуб продолжал спокойно и с удовольствием ехать по приветливой и нежной земле, прощавшейся с ним навсегда.

Раскольников переживал совершённое убийство как трагедию и падал под бременем своего поступка. А Якуб изумляется тому, сколь легок его поступок, как он ничего не весит, как он ничуть не обременяет его. И он размышляет над тем, не больше ли ужаса в этой легкости, чем в истерических метаниях русского героя.

Он ехал медленно, и разве что окрестный пейзаж порой отвлекал его от этих мыслей. Он говорил себе, что вся история с таблеткой была всего лишь игрой, игрой без последствий, как и вся его жизнь в этой стране, в которой он не оставил никакого следа, никаких корней, никакой бороздки и которую покидает сейчас, словно пронесшийся над ней ветерок.

19

Облегченный на четверть литра крови, Клима ждал доктора Шкрету в его приемной с большим нетерпением. Ему не хотелось уезжать из города,

не простившись с ним и не попросив его слегка приглядывать за Руженой. Ее слова «пока из меня его не вынули, я могу еще и передумать» звучали в нем непрестанно и приводили в ужас. Он боялся, что теперь, когда он уедет, Ружена останется без его воздействия и в последнюю минуту может изменить свое решение.

Наконец доктор Шкрета появился. Клима, бросившись к нему, стал прощаться и благодарить за его прекрасный аккомпанемент на барабанах.

— Отличный был концерт,— сказал доктор Шкрета,— вы превосходно играли. Я ни о чем так не мечтаю, как о возможности повторить его. Надо будет подумать, как организовать такие концерты на других курортах.

— Да, конечно, играть с вами было одно удовольствие! — горячо отозвался трубач; затем добавил: — У меня к вам небольшая просьба. Хорошо бы чуть приглядывать за Руженой. Боюсь, как бы не взбрело ей что-нибудь в голову. От женщин всего можно ждать.

— Ей уже ничего не взбредет в голову, не беспокойтесь! — сказал доктор Шкрета.— Ружена мертва.

На мгновение Клима остолбенел, и доктору Шкрете пришлось объяснить, что произошло.

Потом он сказал:

— Это самоубийство, но выглядит оно довольно загадочно. Кое-кто мог бы и придраться к тому, что она рассчиталась с жизнью через час после того, как была с вами на комиссии. Нет, нет, не пугайтесь! — Он схватил трубача за руку, видя, как тот побледнел.— Наша сестра, к счастью, встречалась с одним молодым монтером, который убежден, что ребенок его. Я заявил, что у вас с нашей сестрой ничего не было и что она просто упросила вас взять ребенка на себя, поскольку не состоящим в браке комиссия разрешения на аборт не дает. Так что не спутайте карты, если вас будут об этом спрашивать. Нервы у вас шалят, это сразу видно, и очень жаль. Вам надо успокоиться, ведь у нас впереди немало концертов.

Клима не мог найти слов. Полный благодарности, он кланялся доктору Шкрете и много раз жал ему руку. Камила ждала его в Ричмонде. Клима без слов обнял ее и стал целовать. Он целовал каждое местечко на ее лице, а потом, опустившись на колени, обцеловал поверх платья ее всю — до самых колен.

— Что случилось с тобой?

— Ничего. Я страшно счастлив, что ты у меня есть. Я страшно счастлив, что ты есть.

Они собрали свои сумки и пошли к машине. Сославшись на усталость, он попросил ее сесть за руль.

Ехали молча. Клима был совершенно изнурен, однако чувствовал небывалое облегчение. В нем, правда, еще просыпался страх, когда он думал о том, что его могут подвергнуть допросу. Боялся, что Камила все-таки что-то узнает. Но он снова повторял про себя то, что говорил ему доктор Шкрета. Даже если и станут его допрашивать, он должен взять на себя невинную (и в этой стране довольно обычную) роль джентльмена, который услуги ради выдает себя за отца. За это никто не смог бы его осудить, даже Камила, узнай она об этом случайно.

Он посмотрел на нее. Ее красота заполняла небольшое пространство машины, как крепкий запах духов. Он говорил себе, что хотел бы до конца дней вдыхать только этот аромат. А потом ему почудилось, что он слышит отдаленный тихий звук трубы, на которой играет он сам, и он пообещал себе всю жизнь играть только на радость этой женщине, единственной и самой дорогой.

20

Всякий раз, садясь за руль, она чувствовала себя более сильной и самостоятельной. Но сейчас уверенность давал ей не только руль, ее давали и слова незнакомца, встреченного в коридоре. Она не могла забыть их. Не могла забыть и его лица, куда более мужественного, чем гладкое лицо супруга. Камиле подумалось, что она, собственно, никогда и не знала настоящего мужчины.

Она скосила взгляд на усталое лицо трубача, по которому то и дело пробегала необъяснимо счастливая улыбка, в то время как его рука не переставала любовно гладить ее по плечу.

Эта чрезмерная нежность не радовала и не трогала Камилу. Ее необъяснимость лишний раз убеждала, что у трубача есть свои тайны, своя личная жизнь, какую он скрывает от нее, в какую не впускает. Но сейчас это разбудило в ней не боль, а равнодушие.

Что говорил этот человек? Что уезжает навсегда. Тихая затяжная тоска сжала ей сердце. Тоска не только по этому человеку, а по утраченной возможности. И не только по этой конкретной возможности, а по возможности, как таковой. Она затосковала по всем возможностям, которые

не заметила, упустила, от которых увернулась, и даже по тем, которых никогда не было.

Этот человек сказал ей, что провел всю жизнь, точно слепой, не подозревая даже, что существует красота. Она поняла его. Ведь и с ней произошло похожее. И она жила в ослеплении, не видя ничего, кроме одной фигуры, высвеченной резким прожектором ревности. А если бы этот прожектор вдруг перестал светить? В рассеянном дневном освещении появились бы тысячи других фигур, и мужчина, который до этого казался ей единственным в мире, стал бы одним из многих.

Она сжимала руль, чувствуя себя уверенной и красивой, и ее осенила еще одна мысль: а, впрочем, любовь ли привязывает ее к Климе, или всего лишь страх потерять его? И если этот страх с самого начала был тревожной формой любви, то не улетучилась ли со временем любовь (усталая и измученная) из этой формы? Не остался ли в конце концов один страх, страх без любви? И что останется, если исчезнет и этот страх?

Трубач рядом с ней снова необъяснимо улыбнулся.

Она взглянула на него и подумала, что, если перестанет ревновать, не останется ничего. Она мчалась на большой скорости, и ей пред-

ставилось, что где-то впереди на дороге жизни прочерчена линия, которая обозначит разрыв с трубачом. И эта мысль впервые не пробудила в ней ни тревоги, ни страха.

21

Ольга, войдя в апартаменты Бертлефа, извинилась:

— Не сердитесь, что врываюсь без предупреждения. Но я так ужасно нервничаю, что не могу оставаться одна. Я правда не помешаю?

В комнате сидели Бертлеф, доктор Шкрета и инспектор, который ответил Ольге:

— Нет, не помешаете. Мы говорим о случившемся уже вполне неофициально.

— Пан инспектор — мой старинный друг,— объяснил Ольге доктор Шкрета.

— Скажите, прошу вас, почему она это сделала? — спросила Ольга.

— Она ссорилась с молодым человеком, с которым встречалась,— сказал инспектор,— а посреди этой размолвки достала что-то из сумки и проглотила. Больше ничего мы не знаем, и боюсь, не узнаем.

— Пан инспектор,— настоятельно сказал Бертлеф,— прошу вас обратить внимание на то, что

я сказал вам для протокола. Я провел с Руженой в этой комнате ее последнюю ночь. Это главное, что, возможно, я недостаточно подчеркнул. Ночь была прекрасной, и Ружена чувствовала себя бесконечно счастливой. Эта неприметная девушка как нельзя больше нуждалась в том, чтобы разорвать обруч, которым сковывало ее безучастное и неприветливое окружение, и она сразу же стала ослепительным созданием, полным любви, нежности и великодушия, созданием, каким вы и вообразить ее не могли. Говорю вам: в течение вчерашней ночи я распахнул перед ней дверь в другую жизнь, и именно вчера ей захотелось жить. Однако кто-то следом пересек мне дорогу...— в неожиданной задумчивости сказал Бертлеф и тихо добавил: — Верно, в это вмешались силы ада.

— Могущество ада не по зубам криминальной полиции,— сказал инспектор.

Бертлеф, пропустив его иронию мимо ушей, продолжал:

— Самоубийство — полнейшая нелепица, поймите это, прошу вас! Не могла же она убить себя именно тогда, когда наконец почувствовала желание жить! Повторяю вам, я не считаю возможным обвинять ее в самоубийстве.

— Милейший,— сказал инспектор,— в самоубийстве никто не обвиняет ее хотя бы потому, что самоубийство не считается какой-либо виной. Самоубийство вне законов правосудия. Это не наше дело.

— Да,— сказал Бертлеф,— для вас самоубийство не является виной, ибо жизнь для вас не представляет собой ценности. Но я, пан инспектор, не знаю большего греха. Самоубийство — куда больший грех, чем убийство. Убивать можно из мести или корыстолюбия, но и корыстолюбие есть проявление некой извращенной любви к жизни. Самоубийством же мы с издевкой бросаем свою жизнь к ногам Бога. Самоубийство — это плевок, залепленный в лицо Создателя. Говорю вам, я сделаю все, чтобы доказать невиновность девушки. Если вы утверждаете, что она покончила с собой, то объясните почему? Какой мотив вы обнаружили?

— Мотивы самоубийства — всегда тайна,— сказал инспектор,— да и заниматься их поиском не входит в мои обязанности. Не сердитесь на меня за то, что я исполняю сугубо свои обязанности. Их предостаточно, и меня едва хватает на них. Хотя дело еще не закрыто, но могу заранее вам сказать, что никакого убийства я здесь не усматриваю.

— Я восхищаюсь вами,— очень зло сказал Бертлеф,— восхищаюсь вашей готовностью не задумываясь подвести черту под смертью человека.

Ольга заметила, как кровь бросилась в лицо инспектора.

Но он тотчас овладел собой и после небольшой паузы сказал голосом даже слишком любезным:

— Хорошо. Согласен принять ваше предположение, что здесь имело место убийство. Итак, попробуем разобраться, как оно могло быть совершено. В сумке покойной мы обнаружили тюбик с успокоительными таблетками. Можем предположить, что Ружена хотела принять таблетку, чтобы успокоиться, но кто-то успел подложить ей в тюбик другую таблетку, с виду такую же, но содержавшую яд.

— Вы полагаете, что Ружена взяла яд из тюбика с атарактиками?

— Сестра Ружена, разумеется, могла взять яд, который лежал в сумке отдельно, не в тюбике. Так было бы в случае самоубийства. Но если мы предполагаем убийство, то нет иной версии, чем та, что кто-то подложил ей в тюбик яд, который был той же формы, что и ее лекарство.

— Простите, что возражаю вам,— сказал доктор

Шкрета,— но вовсе не так просто изготовить из алкалоида таблетку точно такой же формы. Это под силу лишь тому, у кого есть доступ к производству медикаментов. Здесь ни у кого такой возможности нет.

— Вы хотите сказать, что возможность изготовить такую ядовитую таблетку полностью исключена?

— Может, не исключена полностью, но весьма затруднительна.

— Достаточно и того, что это возможно,— сказал инспектор и продолжал: — Подумаем, кто мог быть заинтересован в смерти этой женщины. Она не была богата, стало быть, имущественный интерес отпадает. Следует также исключить мотивы политического или шпионского характера. Остаются лишь причины личного порядка. Кто же наши подозреваемые? Прежде всего, это любовник, который непосредственно перед ее смертью бурно ссорился с ней. Вы полагаете, что яд подложил ей он?

На вопрос инспектора никто не ответил, и он сказал:

— Я так не думаю. Ведь этот парень неустанно боролся за эту девушку. Хотел жениться на ней. Она была беременна от него, и даже если

бы она зачала от кого-то другого, главное, он не сомневался в том, что она беременна от него. В ту минуту, когда он узнал, что она хочет избавиться от ребенка, его охватило отчаяние. Но заметьте: Ружена пришла после комиссии по пресечению беременности, а не после аборта! Так что для нашего бедолаги не все еще было потеряно. Плод внутри нее еще жил, и он готов был сделать все, чтобы сохранить его. Абсурдно предполагать, что в эти минуты он дал ей яд, когда только и мечтал о том, чтобы жить с ней и иметь ребенка. К тому же пан доктор объяснил нам, что достать яд в форме обычной таблетки — вещь не простая для обыкновенного человека. Где мог бы приобрести ее этот наивный паренек, у которого нет никаких связей в обществе? Вы могли бы мне это объяснить?

Бертлеф, к которому постоянно обращался инспектор, пожал плечами.

— Обсудим следующих подозреваемых. Трубач из столицы. Какое-то время назад он познакомился здесь с покойной, причем мы не знаем, как далеко зашло их знакомство. Но в любом случае достаточно далеко, если покойная осмелилась попросить его объявить себя виновником ее беременности и сопровождать ее на абортную

комиссию. Почему она попросила именно его, а не кого-то из местных? Это несложно угадать. Любой женатый мужчина из этого курортного городка боялся бы огласки дела и скандала в семье. Такую услугу мог оказать ей лишь тот, кто не живет здесь. Впрочем, молва о том, что у нее должен быть ребенок от знаменитого артиста, только льстила ей, а трубачу не могла навредить. Стало быть, мы можем заключить, что пан Клима взялся за эту услугу совершенно спокойно. С какой стати было ему ради этого убивать несчастную медсестру? Весьма неправдоподобно, как объяснил нам пан главврач, чтобы Клима был настоящим отцом нерожденного ребенка. Но допустим и эту возможность. Допустим, что отец — Клима и ему это крайне неприятно. Но объясните мне, зачем ему ее убивать, когда она согласилась сделать аборт и уже получила официальное разрешение на эту операцию? Или, пан Бертлеф, нам следует считать Климу убийцей?

— Вы не понимаете меня,— мягко сказал Бертлеф.— Я никого не хочу сажать на электрический стул. Я хочу лишь обелить Ружену. Ибо самоубийство есть самый тяжкий грех. И омраченная болями жизнь имеет свою тайную цену. И жизнь на пороге смерти прекрасна. Тот, кто никогда

не смотрел смерти в лицо, не знает этого, но я, пан инспектор, это знаю. И потому говорю вам, что сделаю все, чтобы доказать невиновность девушки.

— И я хочу попытаться сделать это,— сказал инспектор.— Есть еще третий подозреваемый. Пан Бертлеф, американский бизнесмен. Он сам показал, что провел с покойной ее последнюю ночь. Мы могли бы считать, что, будь он убийцей, то вряд ли признался бы в этом. Но это возражение весьма несостоятельно. На вчерашнем концерте все видели, что пан Бертлеф сидит рядом с Руженой и что, не дождавшись конца, уводит ее к себе домой. Пан Бертлеф понимает, что в таком случае лучше признаться, чем быть уличенным другими. Пан Бертлеф уверяет нас, что сестра Ружена была в эту ночь с ним счастлива. А как же иначе! Ведь пан Бертлеф не только обаятельный мужчина, но прежде всего американский бизнесмен, обладатель долларов и паспорта, дающего возможность путешествовать по всему миру. Сестра Ружена замурована в этом захолустье и тщетно ищет способ вырваться отсюда. У нее тут единственный любовник, который хочет жениться на ней, но это всего лишь молоденький местный монтер. Если она выйдет за него, то

навсегда предрешит свою судьбу и уже никуда отсюда не вырвется. Она терпела его, поскольку не было выбора. Но при этом не хотела и окончательно связываться с ним, чтобы навсегда не распрощаться со своими надеждами. А тут вдруг появился экстравагантный мужчина с галантными манерами и совершенно вскружил ей голову. Она уже жила мыслями, что он женится на ней и она наконец-то покинет эту глухомань. Если поначалу она умела быть деликатной любовницей, то со временем становилась все более навязчивой. Она дала ему понять, что не отступится от него, и стала его шантажировать. Но Бертлеф — человек женатый, и, как мне известно, завтра к нему из Америки приезжает жена, и, как мне известно, любимая жена, мать его годовалого ребенка. Бертлеф хочет сделать все во избежание скандала. Он знает, что сестра Ружена постоянно носит с собой тюбик с успокоительными таблетками, и знает, как они выглядят. У него широкие связи с заграницей, у него много денег. Для него сущий пустяк дать изготовить ядовитую таблетку в форме Руженина лекарства. Во время этой прекрасной ночи, пока его любовница спала, он тайно подсунул ей яд в тюбик. Считаю, пан Бертлеф, что вы единственный человек, имеющий

повод и средства для того, чтобы убить Ружену. Предлагаю вам признать свою вину!

В комнате наступила тишина, инспектор долго смотрел в глаза Бертлефу, Бертлеф платил ему столь же терпеливым и молчаливым взглядом. На его лице не было ни изумления, ни обиды. Наконец он сказал:

— Ваши выводы меня не удивляют. Вы не способны обнаружить убийцу и потому должны найти кого-то, кто возьмет на себя его вину. К таинственным законам жизни относится и то, что невинные несут ответственность за виновных. Прошу, арестуйте меня.

22

На край опускались мягкие сумерки. Якуб остановил машину в деревне, за которой в нескольких километрах были пограничные шлагбаумы. Он хотел продлить последние минуты, остававшиеся ему на родине. Он вышел из машины в незнакомой деревне и побрел по улице.

Улица была некрасивой. Вокруг домишек валялись ржавые обручи, куски старого железа, выкинутое тракторное колесо. Деревня была заброшенной и безобразной. Якубу казалось, что эта мусорная свалка с ржавыми обручами ни дать

ни взять бранное слово, каким вместо привета прощается с ним его родина. Он дошел до конца улицы, где была деревенская площадь с прудом. Пруд был тоже заброшенный, заросший мокрицей. С краю плескалась стайка гусей — какой-то паренек старался прутом отогнать их оттуда.

Якуб повернул назад к машине. Вдруг он увидел за окном одного дома мальчика лет пяти, не больше. Мальчик стоял и смотрел в окно на пруд. То ли он смотрел на гусей, то ли наблюдал за пареньком, стегавшим их прутом. Он стоял у окна, и Якуб не мог оторвать от него взгляд. Это было детское личико, и что более всего привлекало в нем внимание Якуба, так это очки. У мальчика были большие очки с толстыми, как угадывалось, стеклами. Голова была маленькой, а очки в тяжелой оправе — большими. Мальчик носил их на себе, как гирю. Носил их, как свою судьбу. Он смотрел в них, точно сквозь решетку. Да, он носил очки в тяжелой оправе, точно решетку, которую вынужден будет таскать на себе всю жизнь. И Якуб смотрел в глаза мальчика сквозь эту решетку очков, и на него вдруг нахлынула безмерная печаль.

Было это внезапно — как будто прорвались берега и вода захлестнула край. Якуб давно не

был таким печальным. Уже столько лет. Он знал вкус горечи, терпкости, но не печали. А сейчас она вдруг навалилась на него, и не было сил сдвинуться с места.

Он видел перед собой ребенка, одетого в решетку, и ему было жаль этого ребенка и всей своей страны, и ему казалось, что страну свою он мало любил и плохо любил, и ему было грустно от этой плохой и незадачливой любви.

И вдруг пришла мысль, что это была гордыня, мешавшая ему любить эту страну, гордыня благородства, гордыня аристократизма, гордыня утонченности; безрассудная гордыня, ставшая причиной того, что он не любил своих ближних, что ненавидел их, считая убийцами. И он снова вспомнил о том, что вложил незнакомой женщине в тюбик яд и что убийца он сам. Да, он убийца, и его гордыня повержена в прах. Он стал одним из них, он стал братом этих печальных убийц.

Мальчик в больших очках стоял, как каменный, у окна и неотрывно смотрел на пруд. И Якуб подумал, что этот мальчик, ни в чем не повинный, не совершивший ничего дурного, уже родился с плохими глазами и такими они останутся на всю жизнь. И еще мелькнула смутная мысль, что все,

что он ставил людям в укор, есть нечто данное, с чем они рождаются и несут с собой до конца, точно тяжелую решетку. И Якуба осенило, что сам он не имеет никакого преимущественного права на благородство и что наивысшее благородство — это любовь к людям, несмотря на то что они убийцы.

В памяти вновь всплыла голубая таблетка, и ему представилось, что он вложил ее в тюбик несимпатичной медицинской сестры, как свое оправдание; как свое приобщение к ним; как просьбу принять его в свой круг, хотя он всегда и сопротивлялся тому, чтобы быть к ним причисленным.

Он быстрым шагом пошел к машине, открыл дверцу, сел за руль и погнал к границе. Еще вчера он думал, что это будет миг облегчения. Что он уедет отсюда с радостью. Что уедет из страны, где родился случайно и к которой по сути не принадлежит. Но сейчас он знал, что уезжает со своей единственной родины и что никакой другой на свете не существует.

23

— Не надейтесь,— сказал инспектор.— Тюрьма не раскроет перед вами свои триумфальные вра-

та, чтобы вы вступили в них, как Иисус Христос на Голгофу. Даже во сне не могло мне привидеться, что вы убили эту молодую женщину. Я обвинил вас лишь затем, чтобы вы перестали утверждать, что она была убита.

— Я рад, что ваше обвинение не серьезно,— сказал Бертлеф мирно.— Но вы верно заметили. С моей стороны было неразумно добиваться правосудия по отношению к Ружене от полиции.

— Мне приятно, что вы пришли к согласию,— сказал доктор Шкрета.— Одно может в известной мере утешить нас. Каким бы образом ни умерла Ружена, ее последняя ночь была прекрасной.

— Взгляните на луну,— сказал Бертлеф,— она светит, как и вчера, и превращает эту комнату в сад. Не прошло еще и суток с той поры, как Ружена была феей в этом саду.

— А правосудие поистине не должно нас так занимать,— сказал доктор Шкрета.— Правосудие — не дело рук человеческих. Существует правосудие слепых и жестоких законов и еще, возможно, есть какое-то высшее правосудие, но того мне постичь не дано. У меня всегда было чувство, что я живу в этом мире *вне правосудия*.

— Как это? — удивилась Ольга.

— Правосудие меня не касается,— сказал док-

тор Шкрета.— Это нечто вне меня и сверх меня. В любом случае это что-то нечеловеческое. Я никогда не стану сотрудничать с этой омерзительной силой.

— Тем самым вы хотите сказать,— заметила Ольга,— что вообще не признаете никаких ценностей, которые считаются общепринятыми?

— Ценности, которые я признаю, не имеют ничего общего с правосудием.

— Например? — спросила Ольга.

— Например, дружба,— тихо ответил доктор Шкрета.

Все замолчали, и инспектор встал, чтобы проститься с присутствующими. Вдруг Ольгу что-то осенило:

— А какого цвета были таблетки в тюбике Ружены?

— Голубые,— сказал инспектор и добавил с явным интересом: — Но почему вы об этом спросили?

Ольга испугалась, что инспектор читает ее мысли, и быстро проговорила:

— Я видела у нее такой тюбик. Просто интересно, был ли это тот тюбик, который я видела у нее…

Инспектор не читал ее мыслей, он устал и по-

тому пожелал всем спокойной ночи.

Когда он ушел, Бертлеф сказал Шкрете:

— Скоро приедут наши жены. Пойдем их встречать?

— Обязательно пойдем. Примите сегодня двойную порцию лекарства,— заботливо сказал доктор Шкрета, и Бертлеф вышел в соседнюю комнату.

— Вы когда-то давно дали Якубу яд,— сказала Ольга.— В виде голубой таблетки. Он никогда не расставался с ней. Я это знаю.

— Не выдумывайте глупости. Ничего подобного я ему никогда не давал, сказал доктор Шкрета весьма выразительно.

Из соседней комнаты вернулся Бертлеф, украшенный новым галстуком, и Ольга откланялась.

24

Бертлеф и доктор Шкрета шли к вокзалу тополиной аллеей.

— Взгляните на эту луну,— сказал Бертлеф.— Поверьте, доктор, вчерашний вечер и ночь были восхитительны.

— Я вам верю, однако вам не следовало бы так развлекаться. Движения, которые в такую ночь неизбежны, для вас поистине рискованны.

Бертлеф не ответил; его лицо светилось выражением счастливой гордости.

— Пожалуй, вы в отличном настроении,— сказал доктор Шкрета.

— Вы правы. Если я сделал последнюю ночь ее жизни прекрасной, я счастлив.

— Знаете что,— неожиданно сказал доктор Шкрета.— Я давно хочу обратиться к вам со странной просьбой, но все не решаюсь. А сегодня, похоже, такой удивительный день, что я, пожалуй, решусь…

— Говорите, доктор!

— Я хотел бы, чтобы вы усыновили меня.

Пораженный Бертлеф остановился, а доктор Шкрета стал излагать ему причины своей просьбы.

— Чего бы я только не сделал для вас, доктор,— сказал Бертлеф.— Лишь бы это не показалось глупым моей жене. Она была бы гораздо моложе своего сына. Возможно ли это с юридической точки зрения?

— Нигде не написано, что приемный сын должен быть моложе своих родителей. Это же не родной, а именно приемный сын.

— Вы уверены в этом?

— Этот вопрос я давно проконсультировал у

юристов,— с тихой стыдливостью сказал доктор Шкрета.

— Да, это довольно странно, и я несколько поражен вашей просьбой,— сказал Бертлеф,— но сегодня я в таком удивительном настроении, что хотел бы всему миру приносить одну радость. Если вам это доставит радость… сын мой…

И они обнялись посреди улицы.

25

Ольга лежала в постели (в соседней комнате радио уже не играло), и ей было ясно, что Ружену убил Якуб и что об этом знает только она и доктор Шкрета. Но почему он это сделал, она, пожалуй, никогда не узнает. От ужаса у нее по телу бегали мурашки, но вскоре (ибо, как известно, она умела пристально наблюдать за собой) она с изумлением обнаружила, что эти мурашки сладостны и что этот ужас исполнен гордости.

Вчера она занималась любовью с Якубом в те минуты, когда он несомненно был захвачен самыми страшными мыслями, и она в любовном акте вбирала его вместе с ними.

Как это мне не противно? — спрашивала она себя.— Как это я не иду (и никогда не пойду) донести на него? Неужели и я живу вне правосудия?

Но чем больше она задавала себе такие вопросы, тем больше росла в ней странная счастливая гордость: ей было так, как, возможно, девушке, которую насилуют, но которую внезапно охватывает дурманящий оргазм, тем более мощный, чем сильнее она ему сопротивляется…

26

Поезд остановился, и на перрон вышли две женщины.

Одной из них, верно, было около тридцати пяти, и ей достался поцелуй доктора Шкреты, другая была моложе, эффектно одетая, с ребенком на руках, и ее поцеловал Бертлеф.

— Покажите, сударыня, вашего малыша,— сказал доктор Шкрета,— я ведь еще не видел его!

— Если бы я не знала тебя так хорошо, то кое в чем заподозрила бы,— смеялась пани Шкретова.— Взгляни, у него родинка на верхней губе точно там, где у тебя!

Пани Бертлефова всмотрелась в лицо Шкреты и ахнула от удивления:

— И в самом деле! Когда я здесь лечилась, я ее у вас совсем не заметила!

Бертлеф сказал:

— Это столь необыкновенная случайность, что

не побоюсь причислить ее к чудесам. Пан доктор Шкрета, возвращающий здоровье женщинам, принадлежит к сословию ангелов и, как ангел, оставляет свой знак на детях, которым помог появиться на свет. Таким образом, это не родинка, а ангельский знак.

Всем присутствующим объяснение Бертлефа понравилось, и они весело засмеялись.

— Кстати,— обратился Бертлеф к своей очаровательной жене,— торжественно сообщаю тебе, что несколько минут назад пан доктор стал братом нашего Джона. Стало быть, совершенно естественно, что они, будучи родными братьями, имеют одинаковые родинки.

— Значит, ты наконец решился…— счастливо вздохнула пани Шкретова.

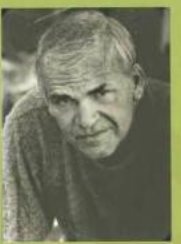
— Я ничего не понимаю, ничего! — Пани Бертлефова потребовала разъяснений.

— Я тебе все объясню. Мы сегодня о многом должны рассказать друг другу, многое отпраздновать. Нас ждет превосходный уик-энд,— сказал Бертлеф и взял жену под руку. И все четверо, пройдя под фонарями перрона, покинули вокзал.

Закончено в 1971 или в 1972 году в Чехии

BIBLIOTHECA

STYLORUM



...Трудно представить что-либо более леденящее и глубокое, чем внешняя легкость Кундеры...

Элизабет Лоуисида. Из предисловия к американскому изданию «Вальса на прощание»

Суть «Вальса на прощание» в снятии завесы. Он воспроизводит или, скорее, творит бесконечную протяженность мира, безграничное пространство, которое не только является воображаемыми декорациями действия... но по сути составляет территорию... искусства романа, столь же реальную, сколь и ментальную.

Франсуа Рикар

ISBN 5-352-00248-9

Милан Кундера – один из наиболее интересных и читаемых писателей конца XX века. Родился в Чехословакии. Там написаны его романы «Шутка» (1967), «Жизнь не здесь» (1969), «Вальс на прощание» (1970) и сборник рассказов «Смешные любови» (1968). Вскоре после трагедии 1968 года он переезжает во Францию, где пишет романы «Книга смеха и забвения» (1979), «Невыносимая легкость бытия» (1984) и «Бессмертие» (1990). Он создает несколько книг на французском языке: «Неспешность» (1995), «Подлинность» (1997), «Безразличие» (2000) и два эссе – «Искусство романа» (1986) и «Нарушенные завещания» (1993). Книги Милана Кундеры переведены на все языки мира.

www.azbooka.ru

АЗБУКА